ISSN 0131–0097

АПРЕЛЬ № 18 1991

THE WEEKLY MAGAZINE

ОГОНЁК



ХОЛОДОК БЕЖИТ ЗА ВОРОТ...



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Выходит с 1 апреля 1923 года
УЧРЕДИТЕЛЬ —
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

№ 18 (3328)
27 апреля — 4 мая

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Картина художника М. Никифорова «1-е мая 1918 г. на Красной площади».

Оформление В. В. ВАНТРУСОВА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.
Цена подписки на год — 46 руб. 80 коп.,
на полгода — 23 руб. 40 коп.,
на квартал — 11 руб. 70 коп.
Цена одного номера в розницу — 1 рубль.

Сдано в набор 08.04.91. Подписано к печати 23.04.91. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 1 790 000 экз. Заказ № 350. Цена 1 рубль.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 251-90-55; Справки по рекламе — 212-12-00.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Издательство ЦК КПСС «Правда». Типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». Москва, А-137, улица «Правды», 24.

ГОРОД НА

Сергей ДАЛЕКИЙ

Фото Ефрема ЛУКАЦКОГО и Владимира МАШАТИНА

О минских событиях первой половины апреля я пишу по их горячим следам.

По следам вольного шага рабочих колонн, от фабрик дымных прошагавших на площадь через весь город по его пригретым ранней весной, сухим и пыльным улицам и проспектам.

По следам на площади, где ветер ворошит бумажные, словно брошенные к подножию монумента плакаты с неумело, наспех начертанными словами протестующих лозунгов и гневных призывов. Похрипывает на ветру еще не отключенный микрофон. На одном из флагштоков, предназначенных для государственных, вывешиваемых во дни державных торжеств флагов, одиноко полощется национальный, бело-красно-белый флаг Беларуси...

Все, баста, стачка приостановлена, митинг ушел на работу.

С боковой улочки, из-за красного костела выворачивает на площадь колонна армейских грузовиков и с натужно нарастающим ревом удаляется к местам только им известной дислокации. Выше, выше, на мост, откуда долго еще, пробивая неяркий свет апрельского солнца, пульсирует над городом тревожно-фиолетовый проблеск «мигалки».

Над городом, который никогда уже не будет таким, каким я знал его всю, до сего дня, жизнь.

Что случилось с ним? Почему он вышел на площадь в этот не помеченный никакой красной датой день? Какая шестерня сломалась в заведенном, казалось, на века механизме, который исправно, два раза в год, словно приводными ремнями, втягивал на площадь, под застывшую тень монумента, серпасто-молоткастые кумачовые колонны ликующих демонстраций верности, преданности, любви?.. «Да здравствуе-е-е-т! Ура-а-а!»

Я брожу по опустевшей площади, читаю брошенные примятые плакаты, слова бьют наповал, до черноты прожи-

ПЛОЩАДИ

гают душу и вдруг, словно в фокусе, сходятся на двух, будто впечатанных — навсегда ли? — в пыльный асфальт: «Долой социализм!»

Да что ж это такое? Где, в какой точке земного шара, над какими городами рабочие поднимут этот призыв? И почему он поднят над городом, который до последнего дня считался если уж не оплотом, то по крайней мере крепостью? Крепостью, о стены которой все последние годы безуспешно разбивались самые могучие из бушующих волн перестройки. Впрочем, и подтачивали эти стены, проникая в город, разливаясь по площади куропатской болью, чернобыльской мукой, литовским страданием...

Из руин и пепла... словно феникс... город-герой...

Сегодня я назвал бы его дважды героем.

Потому что восстать из пепла страха и лжи, сбросить с себя оцепенелое равнодушие — тоже геройство, какого мой город еще не знал.

...Первый день апреля. Город мужественно выстоял в очередях за мукой, сахаром, маслом и прочей оталоненной бакалеей. И хлебом. К вечеру разнесся слух, что одна из хлебных очередей в заводском районе насмерть задавила семилетнего мальчика...

На второй день апреля слух развеялся вместе с очередями. Город, точнее, часть его, свободная от фабричных работ, ошалело бродила по опустевшим магазинам, натыкаясь на новые ценники там, где был выложен хоть какой-то залежалый товар. Бормотал, прицениваался, подсчитывал, посмеивался и поругивался, пытаясь осознать, что уготовил ему день грядущий...

Утром третьего дня прекратил работу один из цехов электротехнического завода. Рабочие пошли в дирекцию просить рубль добавки к обеду, подорожавшему по меньшей мере в три раза,— вон, у соседей платят, а мы что, рыжие?.. Рыжие... И тогда, потому как денег нет, невесть откуда появился мегафон и вослед забастовщикам потянулись на свежий воздух другие цехи. Что? Митинг на заводе? Вон, вон!..

И народ повалил за проходную, в момент перекрыв движение на одной из самых протяженных и оживленных магистралей города. И тут же к ним присоединились облагодетельствованные соседи — рабочие заводов шестерен, автоматических линий, кузнецы и молотобойцы тракторного. Практически незаметным остался переход от выклянчивания рубля к требованиям роспуска всех парламентов, отставки всех правительств и Президента. Президента, который еще не так давно проезжал по этой улице, приветствуя любопытствующую толпу, теснимую отрядом ОМОН и людьми в штатском. Тогда, впрочем, толпа проявляла сдержанное дружелюбие и веру во взаимное понимание.

Сегодня от терпимости, веры и дружелюбия не осталось и следа. Как не осталось следа и от того, что принято называть толпой, повинующейся лишь плохо осознанным инстинктам: стихийно возникший митинг на удивление быстро обрел черты самоорганизованности и целенаправленного, осознанного действа.

Кто-то прокричал в мегафон: «Пошли к правительству!» «Хватит, находились, пусть само к нам идет!» — отозвался митинг.

Примчались два зампреда, предгорсовета. Выступали, успокаивали, оправдывались, пытаясь втолковать, что меры социальной защиты от повышения цен, предпринятые правительством вместе с профсоюзами накануне, не так уж плохи и недостаточны. Тем более что бюджет трещит по швам, как ни зашивай его, дыра в три с половиной миллиарда остается. А виной всему, что произошло,— нерасторопная торговля и прижимистые директора, не желающие исполнять решения заботливого правительства...

Директора держались могучей кучкой неподалеку, не отзываясь, однако, на призывы членов правительства «выйти и честно посмотреть людям в глаза». Попытались что-то сказать один-другой председатели профкомов, их не очень вежливо оттеснили — не доверяем. И тут же на митинге избрали объединенный, от четырех заводов, стачком.

К вечеру был образован оргкомитет, оформлен пакет экономических и политических требований к правительству и Верховному Совету, определен крайний срок их выполнения — 10 апреля.

А 4-го поднялся — нет, еще не весь, но уже город. Самостийно вышли автозаводцы, на пути к площади в их колонны влились рабочие практически всех крупных предприятий, студенты, многотысячным уже митингом сойдясь у подножия монумента. Скульптор Манизер, автор сооружения, воздвигнутого вместе с Домом правительства в 1933 году, едва ли полагал, что мраморной трибуной у ног вождя завладеют спустя почти шесть десятков лет рабочие, чтобы сказать все, что думают они о власти, присвоившей себе рабоче-крестьянское происхождение и под этой личиной приведшей рабочих и крестьян на грань нищеты, а страну — к самому краю национальной катастрофы...

Интересное все-таки это сооружение — мраморная трибуна у ног вождя, который, вознесенный над площадью, изображен тоже выступающим с трибуны. Трибуна на трибуне, предназначенной для членов правительства в дни всенародных торжеств. Сколько помню себя, она всегда была пуста: слишком тесным оказалось для них пространство, отведенное скульптором, слишком бедной — его фантазия, ни сном ни духом не ведал он, что так много окажется претендентов на прямое, хоть и подножное, соседство с вождем...

4 апреля белорусский премьер Вячеслав Кебич поднимался на эту трибуну, как на Голгофу. И ушел под крики и свист, явно не заслуженные человеком, который, надо сказать, не в пример своим предшественникам вызывает симпатии неподдельной искренностью, способностью к открытому выражению простых человеческих чувств, демократизмом и энергичной деловитостью.

Чего ж не хватило премьеру? Выдержки? Спокойствия? Смелости? Понимания глубины и опасности ситуации? Нет, ему не хватило того же, чего в принципе не хватает власти, еще в 17-м году определившей себе место над народом, а не вместе или хотя бы рядом с ним.

Сегодня белорусское правительство самое, пожалуй, обиженное в мире. Оно искренне не понимает, чего хотят от него забастовщики, рабочие, о благе которых оно так самозабвенно пеклось.

И впрямь, все, казалось, было сделано для того, чтобы смягчить удар от падения на грешную землю. Почему же надувные матрацы компенсаций, индексаций и прочих превентивных мер оказались неспособными выдержать этот удар? Не потому ли, что они, эти матрацы, оказались на поверку не надувными, а дутыми? Дутыми пустыми деньгами, а проще и по сути говоря, ложью. Только ложь эта, признаваемая ныне правительством, понимаема совершенно по-разному им и теми, кто вышел на площадь.

Правительство, отметая от себя обвинения во лжи, адресует их центру — вот-де обещал в полтора-два раза, а вышло, когда вскрыли ночные пакеты с прейскурантами, з три — пять...

А из тысяч глоток на площади — «Сво-о-о-бо-о-ды!», «Доло-ой!».

Ну где она, эта обещанная и в 17-м, и в 56-м, и в 85-м свобода?

Хватит нам бросать кости, продолжая держать на цепи.

И потому — долой!

В эти апрельские дни город порвал цепь. И страх переместился в коридоры власти, даже в буквальном смысле — 4-го все двери Дома правительства, выходящие на бушующую площадь, были заперты, а вечером милиция выпускала чиновный люд через черный ход позади громадного здания...

Страхом и обидой на неблагодарный народ были продиктованы последующие действия власти. И 5-го, когда премьер поехал на Станкостроительный завод имени Октябрьской революции, который 4-го не бастовал. И 6-го, когда правительство в спешном порядке приняло постановление о дополнительных мерах по социальной защите. Стачком расценил его как очередное надувательство, перекладывание денег из одного рабочего кармана в другой. И то правда: к дефициту бюджета в три с половиной миллиарда постановление добавляет еще 6,8 миллиарда, доведя его таким образом до совершенно абсурдных, по его собственному признанию, почти невозможных 50 процентов. Только и слышно теперь — катастрофа! Только ведь и стачком не дурак. Катастрофа ни ему, ни тем, кто горой стоит за ним на площади, не нужна. Им нужно, чтобы бюджет поддерживался сокращением никому не нужных расходов, чтобы в Чернобыльской республике отменили пятипроцентный налог, чтобы немедленно вернулся с каникул парламент, принял демократический закон о выборах, назначил их и ушел в отставку, дав дорогу новому, демократично избранному на многопартийной основе. Им нужно, чтобы все партии прекратили свои игры в заводских стенах, коммунистическая, оседлавшая производство, прежде всего. И, конечно, им нужно, чтобы сегодня жить если не лучше, то по меньшей мере не хуже, чем вчера.

Но что стачком? Кто он такой? И Сергей Антончик, рабочий Приборостроительного объединения имени Ленина, народный депутат республики и сопредседатель городского стачкома, получает в ответ на предъявленные требования письмо за подписью первого зампреда Совмина М. Мясниковича: «...На ваше письмо за номером... сообщаю, что вам должно быть известно...»

Какие переговоры? С кем? С этой кучкой экстремистов, которые, воспользовавшись ситуацией, увлекли за собой часть обманутых рабочих, чтобы их руками захватить власть?..

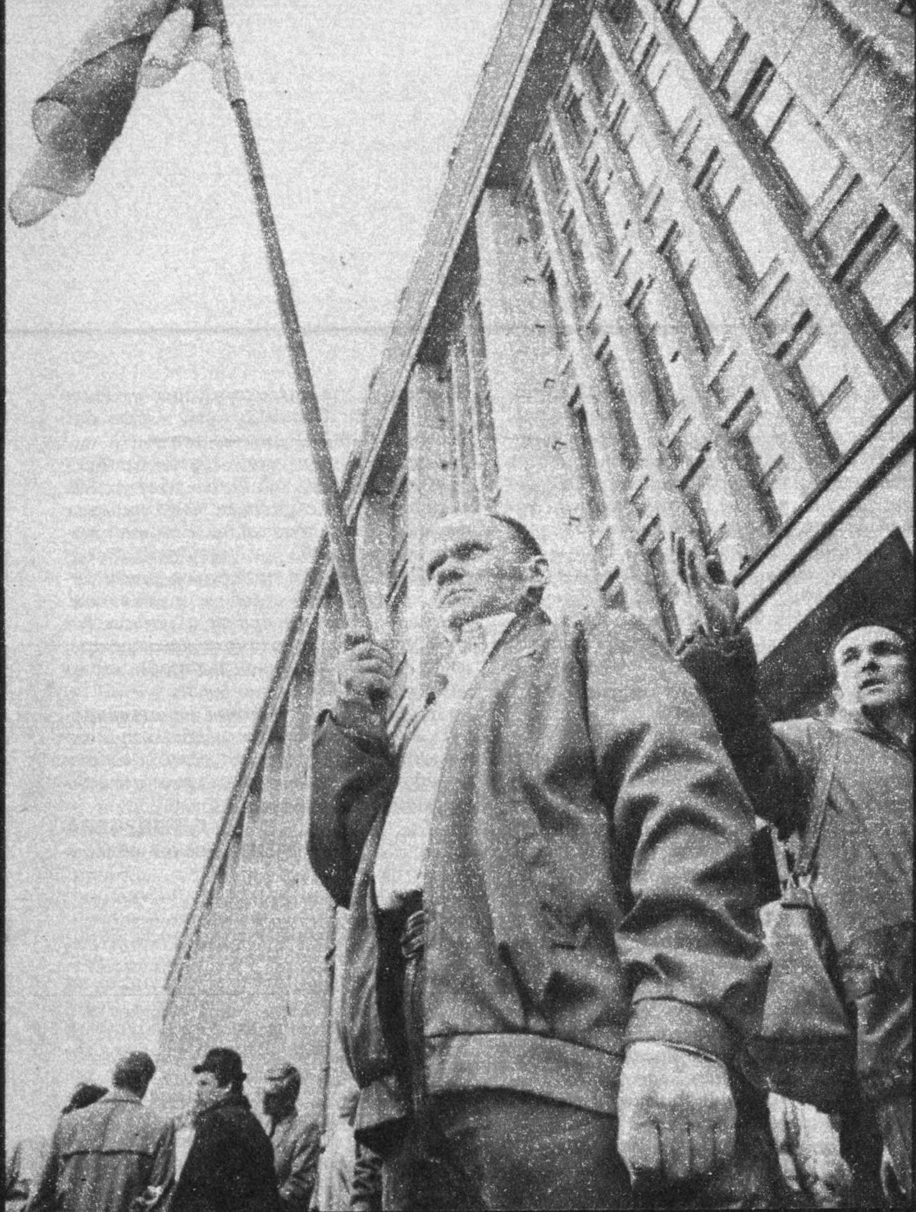






Что ж, это действительно борьба, но не за власть, а против той власти, которая привыкла властвовать без борьбы. Лукавил, что ли, Георгий Мухин, один из сопредседателей городского стачкома, то бишь один из «кучки экстремистов», наладчик высочайшей квалификации, когда, едва держась от усталости на ногах, признавался, что ждет не дождется, чтобы вернуться на родной «Электронмаш», к своему станку, на свое место.

Между тем за Мухиным со товарищи, за этой «кучкой экстремистов» к вечеру 9-го апрельского дня уже стоял практически весь город. Пока стоял, готовясь 10-го, если правительство и Верховный Совет не пойдут на переговоры, снова выйти на площадь, объявить общегородскую, уже не забастовку — политическую стачку. Даже воспитатели детских садов создали свой



стачком, заявив, что будут работать до тех пор, пока отцы и матери будут на площади. Оказывается, есть и такая забастовка — работать...

А что же власть? В попытках объяснить себе и людям причины, природу и масштаб происходящего она все глубже погружалась в болото иллюзий и самообмана. О первой такой попытке я уже говорил — о встрече премьера с коллективом станкостроителей. Дважды прокручивалась запись этой встречи по телевидению, дважды я смотрел и слушал премьера, пытаясь понять, зачем и почему он все это проделал. Чтобы найти аудиторию, где его без криков и свиста выслушают? Наверное. И слава Богу, так оно и вышло — зал слушал молча и сосредоточенно. Да и то, как не отозваться сочувствием и пониманием на искреннейшее признание в том, что впервые за последние дни он наконец вдохнул свежий воздух настоящего рабочего коллектива. А 10-го настоящий коллектив тоже вышел на площадь...

Как же похоже это на поиск «благодарной» аудитории, предпринятый президентом в конце февраля...

Да, власть, повторюсь, все еще думает, что мала кость, а народ уже понял, что слаба цепь.

И все же, почему? Даже на фоне шахтерской драмы, нашедшей у города самый сочувственный и солидарный отклик, степень удивления происходящим в Минске: «Ну, уж если белорусы взбунтовались!» — достаточно велика, чтобы, дав себе поостыть, не попытаться понять, что же заставило сработать детонатор, что расплавило такой мощный предохранитель системы, каким считались до последнего дня Белоруссия и ее «мягкий, терпеливый, гостеприимный, многострадальный, трудолюбивый...».





Сегодня мне известны две, ну, может быть, две с половиной версии, рожденные в коридорах изрядно напуганной власти.

Первая, прозвучавшая из уст премьера на упомянутой встрече, проста и бесхитростна. События, по его мнению, инспирированы «кем-то, кому надоела стабильная и спокойная обстановка в республике». При этом почему-то был назван Анатолий Собчак, который, выступая на российском Съезде народных депутатов, будто бы высказался в присущей ему манере относительно этой пресловутой белорусской стабильности... Странно, премьер, видно, сам не слушал и не читал речь Собчака, скорее всего ему доложили. Впрочем, так оно или не так, а удивляться здесь особенно нечему. Лихорадочный поиск спасительной идеологической ниши, дзота, на который со всех сторон ползут враги, подобного тому, в который укрылся союзный премьер, отбиваясь от «финансовой агрессии западных банкиров», органически присущ нашей нынешней власти, не так уж далеко на поверку ушедшей от предыдущих.

Вторая версия выдана на-гора в ходе одной из многочисленных пресс-конференций и потрясает своей хитроумностью. Причина, оказывается, как раз в том, что белорусская экономика все еще держится на плаву, еще не сломан стабилизатор и в отличие от других регионов, где люди привыкли уже покупать мясо по 30—50 рублей за килограмм, семирублевая говядина повергла заевшихся, простите, минчан в состояние шока... Такой вот парадокс, диалектика, одним словом. Впору ставить памятник нынешним старогегельянцам и неомарксистам, прошедшим выучку в стенах ВПШ и прочих партийно-академических мавзолеев...

Ну и наконец, полуверсия с полным набором привычного инструментария — экстремисты, властолюбцы, провокаторы и т. п.

Не будем уподобляться правительству, искать причину в нем, как оно ищет ее в расшалившихся подданных. Заложник центра и собственного парламента, оно едва ли способно само широко распахнуть двери экономической свободе, невозможной в наших условиях без свободы политической. И потому говорить об ошибках правительства по меньшей мере бессмысленно. Связанное по рукам и ногам, оно само — жертва системы политической власти.

Говорить можно об ошибках демократического движения, олицетворенного в Белоруссии ее Народным фронтом — БНФ, но так и не ставшего мощной оппозицией системе. Но, увы, само оно о своих ошибках говорить не торопится, причины своих неудач видит в «незрелости» народа, который никак не удается собрать под знамена национального возрождения. Как будто невдомек, что под эти знамена осознанно может встать человек, чьи права и свободы надежно защищены подлинной демократией.

События в Минске и других городах Белоруссии отчетливо показали, что ее народ, как, может, ни один из его западных соседей, оказался ближе к восприятию истинно демократических ценностей, в эпицентре которых — упомянутые права и свободы каждого. Долготерпение лишь усугубило боль, предопределило взрывной характер борьбы и протеста. Однако же правда и то, что взрыв оказался полной неожиданностью не только для властей предержащих, но и для демократической интеллигенции, которая, похоже, испытала легкое недоумение и даже испуг. По крайней мере она по сей день хранит молчание, за исключением, пожалуй, Василя Быкова, принародно поддержавшего бастующих.

Да, город на площади, вставший за свои права, оказался гораздо зрелее, чем думали о нем демократы, и гораздо сильнее страха, страха, многолетне внушаемого ему той системой власти, в которой так удобно командовать нашим благополучием, загонять в лабиринты «социалистического выбора», где на каждом повороте по часовому, где только и слышно: «Стой! Куда прешь?»

Люди устали от цинизма и лжи, коими держится государственная и политическая система первой в мире и, судя по всему, последней...

Власть, говорят, такова, какую заслуживает народ. События в Белоруссии показали, что народ не заслуживает такой власти. Значит, такая власть должна уйти. А может, она думает, что уйти должен народ?

Минск



■

В средствах массовой информации приводятся данные о численности КПСС, о количестве членов, покинувших ее ряды. Но ни разу не встретилось даже в партийной прессе полного анализа этого процесса. В связи с этим мне хотелось бы отметить несколько принципиальных моментов.

Да, общее по стране число членов КПСС все еще большое. Да, в качестве причин выхода из КПСС можно назвать уход всякого рода карьеристов и принятых по разнарядке. Что же не попало в рассмотрение при анализе событий?

Во-первых, вопреки уверениям некоторых партийных руководителей в КПСС осталась далеко не лучшая ее часть. И это особенно важно. В партийной организации нашего предприятия так же, как и в большинстве соседних предприятий, остались в основном люди трех категорий: пенсионеры (работающие и неработающие), которые уже не могут перестроиться; люди, которые живут по инерции, которым на все наплевать, и небольшая часть партаппаратчиков, которые имеют высокую зарплату и привилегии и не желают с ними расстаться. У нас практически все самостоятельно мыслящие люди вышли из рядов КПСС (из 200 осталось 70, то есть одна треть). По этому можно судить о реальной боеспособности КПСС.

И еще один аспект, причем очень важный, но который почему-то замалчивается. Речь идет об идейной стороне дела. Ведь всякая партия сильна и боеспособна только тогда, когда она оснащена идейно, когда люди четко знают, за что надо бороться. Так вот, сейчас члены КПСС не могут представлять серьезной силы, потому что они лишены этой самой убежденности. Правда, большая часть членов КПСС из числа старослужащих продолжает верить в прежние идеалы, но так же догматически, как и раньше.

На протяжении всех лет перестройки в стране не сделано руководством партии ничего, чтобы переосмыслить теорию марксизма-ленинизма, конструктивно разобраться, на что в теории можно опереться, а что следует отбросить. Тихо-тихо умирает идея коммунистического светлого будущего. Никто не дает определения социалистического общества, к которому надо стремиться. Идеологический фронт КПСС полностью открыт для утверждения утопичности идей Маркса и Ленина о социализме.

Отсутствие понимания идейных основ партии, отрыв верхнего эшелона партийной власти от массы коммунистов, покровительство Генерального секретаря и ЦК КПСС политике, приведшей страну к полному обнищанию и развалу Союза, яростное сопротивление руководства требованиям изменить систему управления в стране — все это сохранить боеспособность КПСС не может.

Ю. МУРАНОВ,
в недавнем прошлом член КПСС, член Совета секретарей района, секретарь парткома одного из производственных объединений
Ленинград

■

28 марта с. г. 29 «робких» народных депутатов РСФСР охраняло около 50 000 человек — солдат МВД и КГБ. По заявлению министра внутренних дел СССР Пуго, в демонстрации и митинге участвовало также около 50 000 человек.

На сессии Верховного Совета СССР от организаторов митинга требовали возмещения затрат на «охрану митинга». Но, позвольте, кто их просил «охранять»? И кто позволил запрещать митинг, разрешенный советской властью в полном соответствии с конституциями СССР и РСФСР?

Было бы логично потребовать компенсации материальных затрат на эту операцию с системы, позволяющей себе развернуть кампанию против собственного народа, и с Президента, подписывающего указы вопреки действующей Конституции. Указы, направленные, по существу, против крупнейшего государства мира — России, доведенного системой во главе с партией до положения колонии, и направленные на то, чтобы закрепить это положение навсегда.

Каким же цинизмом надо обладать, чтобы претендовать на руководящую роль в стране, где в результате этой руководящей роли погибло почти 70 миллионов человек, а 20 миллионов было «вытеснено» за рубеж!

А. ПАВЛОВ,
инженер
Дзержинск Нижегородской области

■

Регулярно у нас в стране стали проводиться митинги и демонстрации, участники которых свободно проявляют свои настроения. Иногда на таких митингах бываю и я. Мне это нужно прежде всего для того, чтобы сравнить свои оценки с позицией тех людей, которые приходят туда.

Не берусь сейчас описывать все впечатления, остановлюсь только на одном. Участники демонстрации несут множество лозунгов. Как я понимаю, никаких запретов на их содержание сейчас уже не существует. И, с одной стороны, это в общем-то правильно. На то она и демонстрация, чтобы продемонстрировать все то, о чем «болит душа и сердце». Но, с другой стороны, по-моему, надо помнить, что никому не дано права призывать к насильственным действиям, никому не дано права оскорблять личность и достоинство человека — будь то Президент, комментатор телевидения или кто-то другой. Об этом говорят и соответствующие статьи Уголовного кодекса. Наличие таких лозунгов на демонстрации — это не признак свободы и демократии, а скорее наоборот — признак нецивилизованности. Это несовместимо с принципами демократического правового государства.

Стремление защитить от обиды своего кумира может толкнуть на ответную грубость, призыв к насилию — повлечь насилие. Причем с какой стороны начнется — это непредсказуемо да, впрочем, и не так важно. А дальше — разгул страстей, катастрофа... Такое у нас уже было. Это не должно повториться! И поэтому еще и еще раз: взвешенность, разум, диалог. Насилие в любых формах должно быть осуждено. Наше общество должно переболеть — хотелось бы, чтобы с наименьшими издержками, — и должно выздороветь, но процесс этот должен идти поступательно. Это моя позиция как сотрудника правоохранительного органа и как гражданина.

В. БУЛЫЧЕВ,
майор КГБ

■

В вашем журнале часто встречались статьи о жертвах сталинских репрессий. Но откуда вы взяли, что в СССР есть такие? Вот, например, Краснодарский отдел социального обеспечения считает, что в СССР таких жертв нет.

А дело в том, что в связи с утверждением нового Закона о пенсиях в РСФСР так называемые жертвы репрессий (а их в Краснодаре около 100 человек), для которых в этом Законе предусмотрены некоторые льготы, обратились в отдел социального обеспечения, где им объяснили, что они таковыми не являются, так как в справках о реабилитации, выданных им карательными органами, отсутствуют статья, по которой они были осуждены, и название этой статьи. Вот таким образом сразу было уничтожено понятие «жертвы сталинских репрессий». Хотя известно, что органы, производившие пересмотр дел и реабилитацию, не имели права указывать в справках политические мотивы, по которым были сфабрикованы дела.

У людей отняли лучшие годы, здоровье, не говоря уже о материальных ценностях. И вот сейчас, в эпоху перестройки, нашлись люди, которые изобрели новый способ поиздеваться над ними.

Обращаюсь в редакцию, надеясь, что вы все-таки сможете каким-то образом оказать нам помощь.

В. БОБРОВ
Краснодар

■

1 апреля с. г. на встрече с коллективом ЗИЛа товарищ Павлов выразил уверенность, что ни один человек не съедает 138 кг хлеба и 44 кг сахара за год. Хлебом кормят скотину, а сахар употребляют в жидком виде. И мне стало интересно: сколько же хлеба в год съедаю я, исключая кондитерские изделия — пряники, печенье и т. д.,— и сколько сахара. Если в неделю я покупаю 1 кг хлеба, то только его съедаю за год 46—50 кг. И это минимум. Мне 44 года, и потребности мои гораздо меньше, чем молодого человека. Конечно, если товарищ Павлов, как он сам говорил в одном из интервью, покупает продукты в буфете по списку, данному ему женой, то ему трудно судить об ассортименте нашего стола. Ведь мы уже давно лишены фруктов и соков, три года я не могу купить лимонов — их просто нет. Так что нам не до витаминов. Нам остается только сахар на с трудом отоваренный талон — все какая-то возможность запастись витаминами. И если учесть мои весьма скудные заготовки компотов и варенья, то только на них уходит в год 35 кг. Поэтому чай я пью без сахара — коплю его на лето.

Конечно, если есть другие продукты, то можно обойтись без хлеба и сахара. Но с учетом сегодняшних цен, дорогой товарищ Павлов, потребление хлеба не снизится, а возрастет. Так как питаться люди будут в основном хлебом и молоком. А какое здоровье будет у наших детей, если им отказано в масле, сыре, мясе, фруктах? У нас в городе норма сливочного масла на месяц — 150 г, но и того нет, талоны не отоварены. А что касается хлеба, идущего на корм скоту, то уж если в городе перебои с хлебом, то в деревни хлеба не завозят неделями.

Г. ГОЛУБЕВА
Химки Московской области

■

Дороги в России всегда плохи, дороги мысли — особенно. Это у вас, в Москве, все шумит, у нас тихо, по старинке живем. «Российская газета» еле добредает на пятнадцатый день, горком, как и прежде, объявляет районным журналистам, что газета «наша», заставляя костерить «так называемых демократов» и рубать новую мысль, тягают газетчиков на внушительные беседы «о жизни» — вроде бы и гласность, и Закон о печати, только шишек у местных журналистов не убавилось: заставляют искать новых врагов, подымать мускулистую руку рабочего класса.

Получает свою «порцию горячих» и «Огонек», да в таких выражениях, санкционированных горкомом партии, за которые в столице и в суд притянули бы, а в нашей провинции все можно, управы нету! Вот так пишем: «замешено на лютой ненависти», «экстремистски безнравственный», «Коротич-Матус», «постоянно злобствующих журналистов из «Огонька», «гнусная ложь», «удивительная близость его взглядов с гитлеровской пропагандой». Вконец обидевшись за публикацию «пошлых» частушек (которые мы очень любим и поем под гармошку), группа коммунистов отказалась от подписки на «Огонек».

Правильно, наверное, сделали. Пусть лучше подпитают своими рублями «Правду» и «Советскую Россию», а то у нас из шести тысяч партийцев всего только пятьсот на партийные органы-то и подписалось.

А «Огоньку» привет от почитателей. Пока вы добираетесь до нас по российскому бездорожью, есть надежда, что и нас коснется простая человеческая жизнь, без идеологических битв и взаимной ненависти.

Д. ТИМОФЕЕВ,
журналист,
В. ТОКАРЕВ,
рабочий,
Валуйки Белгородской области

■

В середине 70-х годов правительство США было озабочено некоторым (на 2—3 процента) уменьшением количества патентных заявок от изобретателей-одиночек. Были срочно приняты меры, в том числе законодательные, по исправлению этого положения. Американские законодатели при этом учитывали то, что

КТО ВЫШЕЛ ИЗ РЯДОВ КПСС ●
ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ●
ЗАЩИТИТ ЛИ НОВЫЙ ЗАКОН ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ●

каждое второе из наиболее знаменательных изобретений XX века сделано изобретателями-одиночками.

К величайшему сожалению, наше общество, а вернее его руководители, за 70 с лишним лет так и не захотели найти способ поощрения изобретателей. Мало того! Создается впечатление, что у нас делается все, чтобы принизить значение изобретательства, тормозить работу изобретателей, содержать за их счет кучу бездельников.

Коснусь вопроса вознаграждения. Неужели человек, подаривший стране пусть даже один миллион, не заслуживает вознаграждения более 20 тысяч рублей? А по новому Закону о подоходном налоге он не получит и половины этой суммы. А ведь на каждое изобретение, тем более на крупное, набрасывается куча «соавторов». В результате настоящему изобретателю достаются крохи, а львиная доля — руководящим «соавторам».

В результате неуклонно снижается количество подаваемых заявок, количество выдаваемых авторских свидетельств, число используемых изобретений. Мы покупаем зарубежные лицензии, хотя у нас имеются свои, даже более эффективные разработки.

Я, как и многие другие изобретатели, надеялся, что в проекте нового Закона будут наконец-то исправлены все минусы положения дел в изобретательстве. Увы! Возможности для «соавторов» опять ничем не ограничены. Наоборот, у них появились более мощные стимулы в виде увеличения вознаграждений, как поощрительных, так и за использование в производстве.

Все сказанное выше является, по моему мнению, одной из основных причин того, что в США прибыль от использования изобретений составляет около 400 миллиардов долларов ежегодно, а у нас — 8 миллиардов рублей всего-то.

И. ГОГИЧЕВ
Тбилиси

■

Слово «дефицит» прочно вошло в наш обиход, и нет никаких надежд забыть его в ближайшем будущем. Но дефицит, о котором я хочу рассказать, по-моему, превосходит все прочие дефициты. Дело в том, что из-за недостатка упаковочной бумаги производственное объединение «Артемсоль» в городе Карло-Либкнехтовске Донецкой области, снабжающее на 80 процентов пищевой солью европейскую часть СССР, с февраля 1991 года предлагает отправлять соль только «навалом», груженную насыпью в крытом вагоне.

Нам, работникам минского областного оптово-торгового объединения «Бакалея», придется этот вагон выгрузить вручную лопатами в какую-то тару — мешки или ящики — и развезти по магазинам. Естественно, во время выгрузки по соли будут ходить в обуви, а соль ведь может быть погружена даже в вагоны, перевозившие химические удобрения или другие подобные продукты, в соль попадут не только загрязняющие, но и ядовитые вещества. В магазинах соль будут развешивать и продавать нам, а мы ее будем часто употреблять и без термической обработки (посолить яйцо, например) и помаленьку травиться.

Считаю такое отношение к потребителю беспрецедентным случаем нарушения его прав. Надеюсь, что публикация моего письма подействует на сознание начальников, причастных к поставкам упаковочной бумаги.

Я. ШУЛЬГА,
начальник торгового отдела минского областного оптово-торгового объединения «Бакалея»

■

Нарзанные источники, расположенные в районе Кисловодска,— давний предмет нашей гордости и, пожалуй, единственное, что осталось нетронутым на фоне всеобщего загрязнения среды. Вряд ли стоит распространяться о том, какую ценность представляют кавказские минеральные воды, об этом знают все. Общеизвестно, что Кисловодск — уникальный курорт всесоюзного значения. Удивительно, что и эта уникальная ценность, похоже, никому особо не нужна. Уже много месяцев в самом центре зоны санитарной охраны, близ памятника природы «Долина нарзанов», в области питания Кисловодского месторождения минеральных вод функционирует экологически вредный цех по выделке шкур.

Цех построен и пущен самовольно, без согласования с природоохранительными органами, более того, существует предписание районной прокуратуры о прекращении деятельности цеха. Но цех продолжает действовать, и все обращения жителей, как и наши, не приводят ни к каким результатам. Наш комитет по охране природы опломбировал цех и приостановил работу, но эту проблему решили просто — пломба на месте, а отходы сбрасываются с другой стороны. Цех размещен в прибрежной полосе речки Кичмалки, которая подпитывает грунтовые и минеральные воды, и создалась уже вполне реальная угроза загрязнения Кисловодского месторождения минеральных вод.

О чем вообще можно говорить, о какой законности, если правоохранительные органы ничего не могут сделать? У кого же, спрашивается, реальная власть?

В. ПАРАХОНСКИЙ,
госинспектор Кавминводского комитета по охране природы

■

НИФХИ им. Л. Я. Карпова — один из старейших институтов страны (основан в 1918 году), внесший существенный вклад в развитие химической промышленности и в теоретические исследования по органической, физической и квантовой химии, с большим научным потенциалом.

Работы института пользуются заслуженным признанием в стране и в мире. Широкой публике, впрочем, институт больше известен как основатель системы экономического стимулирования научных работников, получившей название «карповской системы», кардинальных изменений не внесшей, но тем не менее сыгравшей определенную роль на этапе развития предперестроечных процессов. И вот сейчас институт находится на грани гибели.

Дело в том, что институт, занимавшийся фундаментальными исследованиями, находился в подчинении Министерства химической промышленности СССР. Сейчас Министерство (теперь уже речь идет о Министерстве химической и нефтеперерабатывающей промышленности) само находится на грани исчезновения и финансировать фундаментальные работы не может. В результате институт, что называется, повис в воздухе. Разумеется, общий стиль работы институту необходимо скорректировать с учетом «рыночной экономики». Но совершенно ясно, что в одночасье это сделать нельзя и что совсем без госзаказа фундаментальная наука существовать не может. И счет сейчас идет на месяцы.

Конечно, можно сказать: гибель НИФХИ им. Л. Я. Карпова — это всего лишь гибель одного института. Не надо драматизировать события. Но это будет не полной истиной. Когда речь идет о таком институте, как названный, то гибель института означает гибель сложившихся научных школ мирового уровня. Разрушить их легко, а вот воссоздать потом будет очень трудно. И речь идет о людях — специалистах в своей научной области, многие из которых просто должны будут отказаться от дальнейшей научной работы в фундаментальных областях, а может быть, и вообще от научной работы. Вряд ли такое решение оправдано с позиций долгосрочной перспективы. И еще: не отразилась ли в судьбе института как в капле воды судьба нашей страны, в которой снова готовы взять верх силы разрушения, силы, для которых обязательно надо сначала все разрушить до основания, а уж потом задуматься, что же теперь делать?

Ю. ВОЛИН,
старший научный сотрудник НИФХИ им. Л. Я. Карпова

■

Прочитал очерк Г. Рожнова «Всесоюзный розыск» («Огонек» № 45, 1990 г.), одним из героев которого является подполковник А. Н. Удинцев. Умолчал автор очерка только об одном — о его наградах. Не удивлюсь, если у него вообще их нет, кроме медалей за выслугу лет. Я сам бывший офицер МВД и немного знаком с порядком награждения. Как правило, «мертвые награждают живых», то есть в основном награждают с пометкой «посмертно», ну и заодно перепадает и тем, кто был рядом. А поскольку А. Н. Удинцев проводит свои операции высокопрофессионально и бескровно, то откуда же взяться наградам?

Увлекшись последнее время требованием адекватного материального вознаграждения, мы как-то забыли о поощрениях морального порядка. Почему А. Н. Удинцев не Герой Советского Союза? Ведь, по словам его начальства, «он лично двести бандитов взял...» Для сравнения: во время Великой Отечественной войны снайперу давали героя за 100 убитых офицеров и солдат противника, летчику-истребителю — за 20 воздушных побед, летчикам-штурмовикам и бомбардировщикам — в зависимости от количества боевых вылетов. Герой Советского Союза писатель В. Карпов во время войны получил звание за 37 «языков». Неужели брать бандитов в мирное время легче, чем «языков» во время войны?

Но дело не только в наградах подполковника А. Н. Удинцева. Я считаю, что надо вообще пересмотреть практику награждения сотрудников правоохранительных органов. Необходимо, по-моему, награждать «по счету». «Взял» троих вооруженных преступников — получи боевую медаль, десять — орден, двадцать пять — еще один и т. д., вплоть до ста, за это — Героя.

На это, правда, найдется много охотников возразить, что, мол, у них работа такая. Но позвольте, за что же тогда награждать кадровых военнослужащих? А ордена за труд? За что тогда награждать доярку, комбайнера, кузнеца, ученого?

К. ВЕЛЬКОВ
Ижевск

■

Недавно у станции метро «Василеостровская» я увидел прилавок с разложенной на нем литературой. Литература была только одного направления: там были пресловутые «Протоколы сионских мудрецов», какой-то «Мировой еврейский террор», «Евреи в России», «Ритуальные еврейские убийства» и прочее в том же роде.

Торговали двое молодых людей могучего телосложения. Из разговора выяснилось, что они члены так называемого «Союза русского народа», ставящего своей целью избавление русского народа от инородцев, особенно от евреев. На мой вопрос, знают ли они, что распространение фашистской и иной человеконенавистнической литературы незаконно, продавцы ответили, что у нас сейчас свобода печати и любой человек может выбирать литературу по своему вкусу.

В связи с этим у меня вопрос к председателю Ленсовета А. А. Собчаку и председателю исполкома Ленсовета А. А. Щелканову: действительно ли свобода печати у нас означает ничем не ограниченную свободу распространения человеконенавистнической, шовинистической литературы? А если это не так, то не пора ли запретить пропаганду и распространение такой литературы?

А. ГИНЗБУРГ
Ленинград



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Александр ТЕРЕХОВ

ОДНА ДРОБИНКА В СПИНУ ГЛАСНОСТИ

Заметки мечтательного обывателя

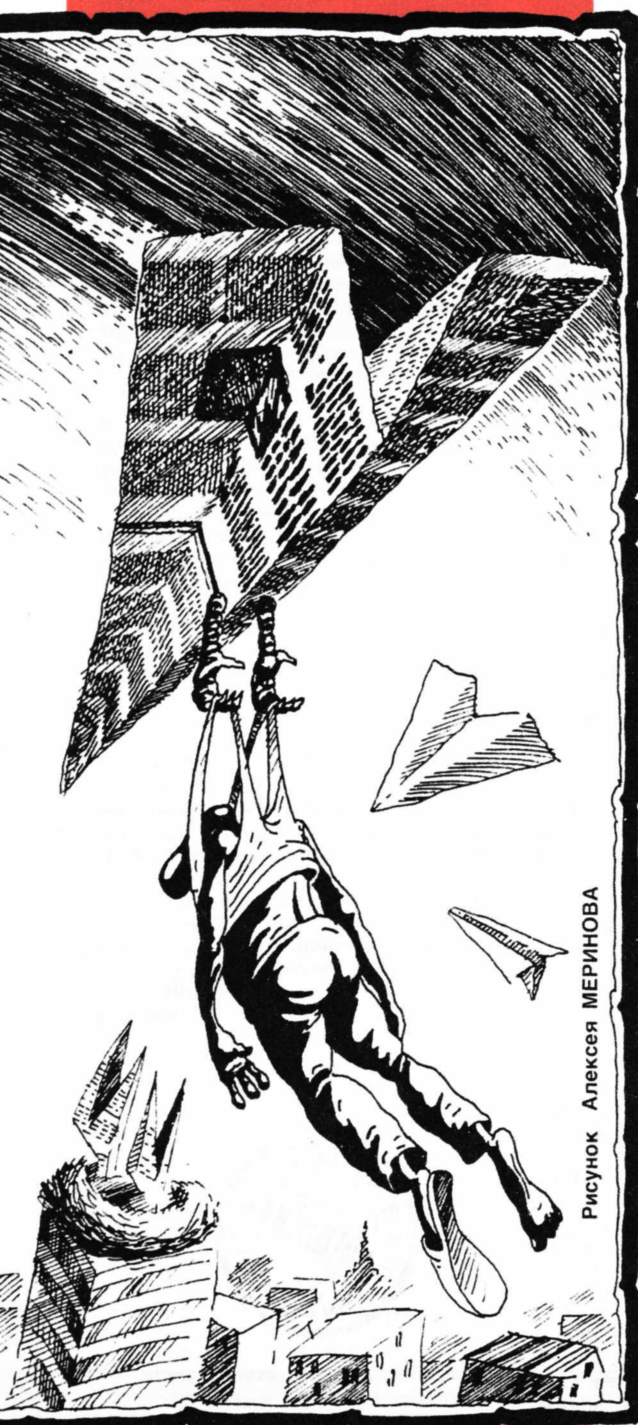


Рисунок Алексея МЕРИНОВА

Я, к сожалению, не такой умный, как все, и за глупые мои выстрелы в спину революционной прессы прошу извинить.

Просто вступит что-то такое в голову, как шило в зад, что вскакиваешь посреди ночи в холодном поту, жмешь к груди родимую подушку и прошепчешь, крестясь на Конституцию РСФСР: «Свят, свят, левый, левый ведь я, братцы, это бесы меня искушают. Ежели признаюсь — свои же в бане тазиками забросают».

И ведь знаю же, что пресса — молодец! И российская мозги ворочала всегда — дай боже. Даже В. И. Ленин отмечал. А с чего, дескать, начать? Чего там думать — конечно, с газеты!

Знаю, что доблестный авангард, и сам в упоении шагаю в строю, и слов нет как хочется избавиться от вредных привычек и дотянуть до светлого капиталистического завтра.

А вот так будто и тянет кто-то за язык пустить подленький разговорчик в строю: братцы, ну какой из нас авангард, вы посмотрите, как носит, шатает, качает, бросает по разным сторонам наши газеты вольный ветер этого сладкого слова «свобода», и мы так обжираемся этой сладости, что рукой уж подать до сахарного диабета с вероятным последующим ослеплением.

И наши метания отражают смятение духа народного в смутные времена одиночества — мы одни.

Мы — одни, как страна. Попробовали бы раньше едва видные на карте Дания с Исландией заводить отдельные разговоры с непокорными прибалтами — мигом поднялся бы стеной весь соцлагерь, и тяготеющие, и обязанные, затаскали бы за нотами послов, понеслись бы с трибуны ООН проклятья, родились бы документы за многими подписями, и давно бы уже паковали чемоданы высылаемые дипломаты — а теперь?

Одинокие, жмемся мы к своим ракетам, собирая танковые стада с чужих выгонов в родные загоны. И ведь вроде не давили перемены в сводно-братских странах, вроде подбегаем везде навстречу, а все одно не прощают нас, не хотят нас, мы — одни. Это так непривычно народу, и так не верится ласковым речам и подаркам вчерашних супостатов — ох, обжулят они нас, наколют, на кой мы им сильные нужны?

И мы одни как люди. Разбрелись. Без идеалов, веры, целей, прошлого — каждый сам по себе.

И это круглое сиротство качает землю под ногами даже у первого из обласканных перестройкой сословий — у журналистов. Чего тогда говорить о бедных и безгласных.

Наш иракский друг Хусейн положил лапы на соседа. Это наш первый экзамен на вступление в приличное общество. Мы признаем, что содеянное другом — мерзость. Мы обдуманно и решительно говорим «да» освободительной войне. Под ногами трясется земля: война против арабов; война в союзе с американцами, чьи интересы в этом случае не столь отвлеченны, как наши; возможный ущерб влиянию в этом регионе; крах представлений последних лет — если мы сказали «да» этой войне, то, по логике, мы должны вернуть свое «нет» действиям США на Гренаде, в Панаме, бомбардировкам Ливии.

И страшно сложно в этой мучительной для общественного сознания, кровавой, поворотной для истории ситуации проявить такт, сохранить достоинство, искренность, ни единым движением не поставить под сомнение наше союзническое «да», ни одним словом не проявить неумеренность в оценке скромного своего участия и ни на шаг не отойти от здравого, трезвого смысла, который мы называем новым мышлением. И что вышло?

В какую же мы сели лужу!

Начало войны все, даже правые, приветствовали поразительно радостным воплем: аршинные заголовки, слово в слово подробнейший пересказ рекламно-победных реляций, дотошный подсчет страшно важного количества самолето-вылетов, аплодисменты новой технике, брызжущее радостной слюной «беспомощность иракцев поразительна», и даже одна газета позволила себе снабдить материал о «Буре в пустыне» радостным подзаголовком «Багдад горел, как рождественская елка».

Что же нас так жалко понесло влезать в первые шеренги этой справедливой расправы, отбрасывать достоинство и ощущение чужой боли, и то, что Багдад, помимо того, что там обитает бандит Хусейн, это еще и трехмиллионный город, и если американской пропаганде просто повторять такие образные фразы — их счастье, что им довелось наблюдать горящие города только с самолетов, их бомбящих, то почему не спотыкается *наш* глаз на этом щенячьем, скулящем подлизывании — и мы, и мы с вами, и мы!

Прошло дней пять. И вдруг все насупились, нахмурились и качнулись в другую сторону: блицкриг-то не удался — запели наши газеты со странным злорадством, и на союзников полились помои из старых кладовых: да, гаснет в Америке эйфория, грядет спад в экономике, появились уже дезертиры, победные рапорты преувеличены, злобные США бомбят объекты с ядерным топливом и биологическим оружием, а В-52 — это вообще «оружие смерти», прольются реки крови, наступит новый Вьетнам, а армия у Ирака ого-го-го какая, и коалиция ваша вот-вот развалится. Нас с ушами выдавали наши прогнозы — в них полезли все наши обиды, смутные надежды, метания. Один генерал скромно заметил, что если на ракету «Скад» поставить простейшую станцию постановки помех, ее эффективность увеличится раз в десять. Генерал прав, но у кого рука подписала это отвлеченное мнение в печать в середине военных действий, когда наши «Скады» падали на мирные крыши в Израиле?

Позвольте, но как же тогда наше союзническое «да»? И какова цена нашему слову? И почему краска стыда не заливает наши щеки по пролитии крокодиловых слез в мелком стремлении нахапать себе отдельно в кулечек моральный капитал, втихаря ополоснуть ручки — мы, дескать, первый раз замужем, мы и не подозревали, как все это будет...

Глашатаи нового мышления вдруг вцепились в глотку военно-промышленного комплекса и так затрясли, что пуговицы брызнули в стороны: зачем оружие продали Ираку, так вашу мать и так?!!

Но, товарищи, если новое мышление — это «мы, как все», то ничего, кроме понимания и даже похвалы, наши торговцы и производители не заслужили. Как бы ни ели они грезящуюся нам икорку и дачи ни строили — в сколько этажей, все равно,— с этих барышей и нам перепало. И никто из наших партнеров по приличному обществу пока еще не перешел на экспорт исключительно крокетных молотков и леек для полива цветочных клумб. И они поставляют оружие не только выпускницам закрытых пансионов благородных девиц, но и товарищам, которые свои подвластные народы по головке не гладят и политическим соперникам на ночь травинкой спину не чешут. Нам не в чем себя тут упрекать. Неужели так обязательно кататься виновато по грязи по любому поводу: «Ах, опять мы виноватее всех!»?

Скорая победа, опередившая все благополучные прогнозы, и наши малопонятные мирные инициативы под занавес совсем раскололи наше и без того треснутое корыто, и мы опять оказались в стороне, одни, подтвердив, что мы по-прежнему не знаем, как жить дальше.

Правда, одна молодежная газета победно прокричала: «Из Кувейта, бего-ом марш!»,— доказав, что мальчики и девочки, придумавшие такое водевильное истолкование трагедии, перекроившей судьбы мира, знают, как надо жить дальше. От этого становится еще печальней.

Вообще печально, как просто мы научились писать за эти годы. Как много мы проговаривали «про себя», опуская сложности, облегчая фразы, обрубая глубинное,— лишь бы острей, лишь бы острей. И из двух зол выбирали меньшее, а писали, что оно — добро. И катастрофу марксизма, перепахавшую судьбы миллиардов и наши судьбы, перечеркнувшую миллионы смертей, почти лишившую жизнеспособности Родину, поставившую под сомнение весь смысл ее пути,— оказалось очень легко свести к тому, что Маркс был почти негодяй, а Ленин рассылал телеграммы о расстрелах проституток и изъятии церковных ценностей, а Сталин был больной, а Россия была православна и обильна, капиталисты давали миллионы на революцию и искусство, и народ любил царя, да вот откуда ни возьмись нахлынули эти распроклятые интернационалисты, как там, кстати, у них с фамилиями — как все оказалось просто...

Как верно все эти годы мы использовали тактику большевиков: говорить то, что выгодно нам, никакой пощады врагу, лозунги должны быть понятны массе, и наши лозунги массе понятны: грабь награбленное партократами и Центром, огонь по штабам, отречемся от старого мира.

И теперь уже полбеды, что наросли зубастенькие мальчишки и девчонки, снисходительно отодвигающие в сторону людей с многолетними заслугами перед страной, с десятилетиями мук и выстраданным тихим словом, и твердят эти короткие лозунги без всяких там сомнительных про себя недоговоренностей,— полбеды.

Беда, что, не воссоздав народа, мы напитали своей простою злостью некую массу, которая приведена в боевую готовность, желающую простых путей, а не трудовых буден, фанатично верящую, что любой, кто заорал: «Я — против!» — герой, что если отнять у генералов дачи, то решится проблема с жильем офицеров, что новые политики всегда лучше старых, что человек с приятной улыбкой и зычным голосом врать не может, что коренная проблема современности — сковырнуть А и на его место поставить Б. И не важны ни законы, ни мнение безмолвных провинций, пусть темное и тихое; на любые жертвы готовы, жизнь отдать — лишь бы А сковырнуть, памятник взорвать, по морде въехать — и тогда на следующий день у нас будет, как в Швеции. Вот это беда. Страшно.

И вроде мы пытаемся и воспитывать, и проповедовать, да как-то до боли странные результаты. Вот что осталось в памяти масс после моря строк о трагедии в Тбилиси? Две фразы — «Десантник гнался за

беременной женщиной и убил ее лопаткой» и «Генерал Родионов — палач». И эти фразы пустили корни, напитали воздух, которым дышит тесно сжатая масса,— они просты и понятны, как навоз. Они хорошо удобряют почву.

И как-то уже не поворачивается язык вякнуть вдохновленным демонстрантам, что в нормальном государстве, при бескровном развитии количество глоток на митинге не решает ни-че-го. Что грамотный опрос полезен и культурнее грандиозных воскресников на площадях. Что цифра сотен тысяч демонстрантов часто говорит прежде всего о неувядаемых революционных традициях и поразительном легкомыслии и готовности «подставиться» под провокацию.

И нам в своих теплых кабинетах пора, может быть, задуматься о нравственной своей ответственности за политические требования горняков. Это же и мы способствовали, поощряли этот дух революционного авангарда, толкая горняков на мучительный, страдальческий и, быть может, излишний для трудового народа путь.

Мы без устали кормим читателя миф за мифом, сменив в своем сердце партийность на остроту.

Миф о двух заговорах. К детищу недоумков — жидо-масонскому заговору добавился теперь заговор военно-партийный, склепанный по такому же образцу,— темные всевластные нити, опутавшие страну, тайные силы, бешеные деньги, боевики и провокации, провокации, провокации на каждом шагу, везде свои люди, наемные убийства и вседозволенность.

Миф о попытке военного переворота. Сколько глоток сорвалось на хрип на этом тревожном разоблачении. Говорили, спорили, опровергали и — бросили. И сознание массы застыло в томительной неопределенности — кажись, было. И теперь — если ясно уже, что шумели понапрасну, ну что стоит дать крупными буквами на белом фоне: «Дорогие товарищи, волновались мы напрасно. Наши отцы, братья, сыновья, служащие в армии, еще не дозрели, чтобы идти нас убивать. Будем бдительны и дальше». А если не ясно, то чем объяснимо теперешнее молчание и заброшенность этой темы, раз мы имеем генералитет, ненавидящий народ, и рабски покорную генералитету армию, и преступники ушли от ответа?

Зачем же добавлять озлобленной массе еще и этого страха?

Миф о военном патрулировании. Сколько перьев сломали, доказывая, что у первого Президента страны нет мечты желанней, чем ухватить демократию за горло, и затея с патрулированием исключительно для этого и рождена. Мы пугали танками, боевыми патронами, разгулом военных, беря на себя смелость усматривать недостойный умысел и прямой обман в действиях, как ни верти, но все-таки законно избранного Президента, но вот вышли на улицы эти солдаты со штык-ножами, и вдруг — гробовое молчание. И оказывается, в других странах тоже ходят военные патрули для поимки гражданских хулиганов, и ничего, не погибла демократия. Так вы объясните мне, задерганному обывателю: был злобный умысел или нет? И если был, чего ж замолчали, опасность же возросла! Или тема устарела? Поехали дальше?

Миф о привилегиях, в уничтожении которых виделась чуть ли не единственная цель перестройки. Сколько людей въехало верхом на этом мифе в парламенты и на съезды, сколько славных кандидатов в народные сыны катались юродивыми перед массами: изберите меня, мужики, и я добьюсь, чтоб везде было так же плохо, как у вас! Избрали. И все. Как-то забылось, отпело, отлеталось. Но вы извините за обывательскую занудливость: так были эти привилегии иль нет? Куда они подевались? Кто их сейчас хлебает? Собираетесь отменять? А если нет, чего обещали? Ведь стоном стонали: уж доберемся мы до этих привилегий, они у нас спляшут!

С какой страстью и милой ребячьей покладистостью мы внимаем каждому самодеятельному прорицателю-мифотворцу: лишь бы помрачней он наворочал и поконкретней — с датами и цифрами. Да я не против, чтоб прорицали, пускай, может, поуже улицу только, а не сразу — прямой эфир и целую полосу; если так ему видится, пускай он докладывает, что, дескать, как доподлинно выпало ему узнать, завтра в семь утра депутатом таким-то пальнут из царь-пушки по зданию ВС РСФСР, следуя исторической традиции смутных времен — выстрелить Самозванцем в ту сторону, откуда пришел. Я не против, пусть говорит. Но чтоб если завтра пушка не бабахнула и ученые доложили, что депутат такой-то по комплекции в ствол не залез бы и траектория не позволит долететь в указанное место,— то пусть тогда нам вежливо дадут понять, что прорицатель этот трепло. Что сбрехал он по недомыслию. И честное имя его под сомнением.

И как меркнут наши несравненные, восхваляемые заслуги в сравнении с тем, что дóлжно было нам исполнить в роковые для Родины дни, коль так покорна и доверчива к нам масса. Чем же мы упиваемся? Ах, какой подняли мы тарарам после убийств в Вильнюсе, ах, и Горбачев вынужден был сказать то-то и то-то — ах, мы спасли демократию! Какие же мы отчаянной храбрости товарищи! Но ведь последние годы копился этот взрыв на наших глазах, все неуютней было военным и некоторым «русскоязычным», годы зрело в них недовольство и страх в ликующе рванувшей к свободе Прибалтике — и мы не спешили развеять эту тревогу, взвесить серьезность ее, избавить нарождающуюся независимость от крови, посоветовать прибалтам быть посдержанней, посправедливей, побережней, подстраховаться — ах, это наша жуткая русская прощающая слепая влюбчивость, сколько мы готовы были простить!

И мы отдали этих запуганных людей правой прессе, и та вбила в их головы чумное, фантастическое противостояние социализма и реставрации буржуазного государства вместо цивилизованной борьбы за свои права. И когда брызнула, как и должна была брызнуть, кровь — мы все свалили на правых, мы опять заорали: «Убийцы!», и даже трагедия не позволила многим этим людям услышать обращенные к ним человеческие голоса. Мы и глянуть не успели, как примчался на место событий ленинградский теледидол и заляпал грязью эту тему. И никто из нас не возьмется теперь что-то пискнуть доброе про этих пусть и обманутых, пусть и заблудших, но все же несчастных, все же покинутых всеми людей! Никто не желает быть теперь, как этот идол!

Но кто вырастил этого истукана? Кто сюсюкал ему, и агукал, и умилялся — поглядите, какой профессионал, пусть грубоват, но это простим — зато как кормит остреньким! Неужели вы раньше не видели прущую с экрана черноту, еще более черную от соседства с сусальным заигрыванием с поруганной Русью,— что же теперь мы надули губки? Это же наше, наше растение, которое мы напитали до такого размера, что тень его способна оболванить мозги миллионов, где же наша хваленая зоркость и беспристрастность, есть ли у нас какая-то внутренняя нравственность, независимая от политической актуальности, позволяющая предпочесть культурного оппонента звероподобному стороннику?

И тем грустнее наши ошибки, что, как и в подвластно партийные времена, мы одни, монополисты. За эти годы не возникло ни одного массового правого издания, я уж не мечтаю про центристские, а все, что возникали, начали сразу же с укусов Ленина и Горбачева — с того, что мы уже отыграли. И возникла ситуация: Президент и правительство висят в воздухе над массой, которую мы накачиваем так, что она готова сверху принять лишь одно — падение, и то обязательно попеняет, что не сделано это было раньше.

Президент и правительство вроде избраны и утверждены, они законны, они имеют право на первенство в пропаганде своих решений и взглядов, но даже пробный шаг с обменом купюр вызвал нагромождение сумасшедших обвинений, что это затеяно лишь для того, чтобы ограбить народ, чтобы сделать еще хуже, чтобы задавить в давках в сберкассах побольше старушек.

Никто, по-моему, не сказал: это первый блин, он комом, но давайте спокойней, спокойней, ничего страшного не происходит, даже если это ошибка. Ведь это еще вопрос: на чьей совести задавленные в очередях старушки, может быть, и на нашей. Ведь как широко и разгульно преподносилось любое мнение, доказывающее бесполезность этой меры, грабительскую ее направленность, и как украдкой мелькали мнения «за» даже и уважаемых в «левом» лагере людей.

Все меняется, кроме наших газет. Как привыкли мы служить единственной научной и верной идеологии, быть честью, умом и совестью, не считаясь больше ни с кем, не терпя не то чтобы другого мнения, даже существования человека, мыслящего по-другому, так и осталось это в нашей крови. Так мы изменились, ничего в себе не изменив, поменяли флаги, песни и слова, а беспощадность, высокомерие и снобизм остались прежними.

И вы мне скажете: это просто в такое революционное время выпало нам жить, сейчас не до этого, просто роль прессы сейчас возросла неимоверно, именно сейчас мы должны как никогда много и в особенности быстро и т. д. и т. п. Только это бессмысленно, это чисто отечественное изобретение — про постоянное возрастание чего-либо. Полистайте русскую историю, написанную по-советски: каждая глава начинается еще большим ухудшением положения трудовых масс, и это так непрерывно, что выходит, что по сравнению с фабричным мастеровым 1913 года смерд Киевской Руси жил, как граф Бобринский. Полистайте чисто советскую историю: каждый год — возрастание напряженности, трудового накала, задуманных свершений и особой строчкой — роли прессы.

Это так хитро задумано, что всегда есть причина не цацкаться, не церемониться, рубить, крушить, орать, а все остальное — некогда, некогда, все — потом. Некогда думать, жалеть, каяться.

И если мы хотим прервать занудливо повторяющуюся веками цепь трагических бедствий, поддержанных и усугубленных в России пишущими,— надо уйти из авангарда, надо снять с себя мантию судьи, и наложить на себя обет смирения и покаяния, и сказать: мы будем звать единственно к ненасилию, законности, бескровию. Этого хватит. И, может быть, народ заживет поспокойнее.

Еще вы мне скажете: это все простительно — первые годы свободы, ребенок делает первые шаги, его шатает, пройдет, подрастет. Это правда, но если бы это был ребенок! Если бы это были битые-переломанные диссиденты, которым простительно было бы выходить на газетные страницы руки в брюки и поплевывать сквозь зубы: «А что я вам говорил, то-то, братцы!». А вот как раз диссиденты-то странно спокойны и тихи, а буйствуют верные октябрята, пламенные пионеры, отчаянные комсомольцы, кристальные партийцы, которые в общем-то и ответственны за запутанное, темное, инертное состояние бедного нашего народа, бедных нас. Я понимаю, что люди прозревают, понимают, раскрепощаются — все это ясно-понятно, но мне кажется, что это проходит не так безболезненно — все-таки отменяется собственная жизнь, все-таки обращаемся к тем, кому вдалбливали в головы обратное, к тем, чье материальное положение часто не так твердо, как наше, к тем, кто боится новых неведомых времен и не нашел в них своего места. И все это должно болеть у нормальных людей, у порядочных людей. А когда у тебя болит, то должна чувствоваться и чужая боль, должно появляться милосердие, понимание общности судьбы — ведь не такие мы еще разные, не может вчерашняя братская семья расколоться за шесть лет до такой ненависти, чтобы подрывать бомбами друг друга. И партии наши все больше детские, и лидеры наши все больше раздутые, и ненависть наша все больше от обиды за отсутствие понимания и доброты. Нам рано расходиться, рано куда-то бежать, никогда у нас не будет, как в Швеции, никогда. Нам еще предстоит вместе понять общую нашу вину перед страной, взять из прошлого все нужное, восстановить цельность исторического восприятия, возродить национальное, вернуть уважение и любовь к ближнему, а уж потом пускай политики играют в политику, а народ просто живет. Мне не хватает нашей боли. Людям не хватает нашего сострадания. Меня пугает повальное рукосуйство и барство: поехали, мужики, кто не собрался — пусть пылюги поглотает!

Ведь нам совершенно некуда спешить, если мы хотим счастья. А наши газеты и покорная им масса охвачены отчаянным зудом: скорее, скорее, когда же жизнь, мы ж так бедны, забиты и убоги. Но ведь счастье — от чистых рук и души. И поэтому спешить совершенно некуда: лучше десять лет еще топтаться на месте, чем живо рвануть вперед, хотя бы раз наступив на живое. Надо дать возможность людям, не желающим новых времен, прожить в спокойствии, достатке и в уважении; и идти, насколько смогут они, только вместе, всем вместе, не убивать, не пугать, не втаптывать, не бросать.

Жизнь и счастье независимы в первую очередь от телевизионных корыт и газетных луж, наличия туалетной бумаги в общественном туалете и фамилии председателя телерадиокомпании, очередных речей и продажного искусства широкого употребления.

Помните, как смеялся во французском плену Пьер Безухов, когда понял, что так пытаются поймать его бессмертную душу? Бессмертную душу! Я не призываю быть счастливым и на коленях, но главное все же душа, а не очередной газетный вопль.

И счастье никак не зависит от сферы обслуживания и того, как кто-то кому-то там врезал на съезде, от того, бедны мы или богаты. В принципе арабский шейх, ковыряющийся в носу алмазным ногтем, никак не счастливей заирского пигмея, живущего на дереве. Счастье наше уже с нами, здесь, вокруг нас, и зависит от нас.

И не надо чего-то ждать, поскольку, по слухам, жизнь дается только один раз. И ее надо прожить для себя.

И битва за Россию, за наше счастье идет не в Кремле, а в детских садах, школах, храмах, на огороде, в словах мастера, показывающего первые движения ученику, в счастье крепкой семьи.

И если вы ходите на площадь и требуете: дайте ж нам, наконец, жить по-людски, или едете за этим на чужбину, то ваши труды напрасны — этого не просят, этого не ищут дальше себя.

Человек, обыватель велик в своей единственности и частном образе своего бытия, с ним лишь вечные слова, насущные, как хлеб, его дни просторны, как века, его труды осмысленны, для него значительны жизнь, любовь, рождение, смерть, смена весны на лето, проблеск солнечного луча, взмах птицы — он народ, он соль земли нашей, только он спасет.

Если мы дадим ему выбраться из поднятой, намешанной, взбаламученной, мутной массы.

Глубоко раскаиваюсь и прошу извинить меня за подлые мои измышления в адрес революционной прессы.

КУПЕ КУРЯЩЕЕ

Нина ЧУГУНОВА

Где тут у вас на вокзале кипяток?

Русско-финский разговорник, выпущенный к Московской Олимпиаде. 1980 г.

Значит, опять весна, и у людей март, а у тебя тоска вагонная, железная, и это род токсикомании, потому что запах паровозной гари тебя преследует, как склонность к обморокам, и от этого дремота, тот же авитаминоз неизлечимый. Разве что уехать. Навсегда: дней на пять, ну, на неделю. Бросить все, оторваться. Сесть в поезд, уставиться в окно.

Россия бродит в душе неприкаянная.
Вокзалы ее неизменны и одиноки.
Ничто так не сравнимо с вокзалом, как Россия.
Ничто так не саднит, как Россия и вокзал...
Древняя тщета: уехать!..— одна у них.
Древний и бабий крик: «У-е-хал!..» — один.

В студенческие годы я ездила домой в общем вагоне с шестью копейками в кармане. Шесть копеек стоил проезд в автобусе в городе, где все еще стоит на кургане замахнувшаяся на нас мечом кудрявая женщина: как-то мы по кургану добрались к ней наверх и поразились большому пальцу ноги, нависшему над нашими головами.

Ехать было светло и легко. Комфорт спального вагона еще казался мне привилегией секретаря обкома. Если от покупки билета оставалось больше, чем шесть копеек, то в Мичуринске можно было на полтинник купить полную миску моченых, хрустящих, как тужурки шевро, яблок.

Еще врывались на каждой станции тетеньки, обнявшие кастрюльки с вареной картошкой, отдельно — огурец в газете.

Махали перед носом детскими шапочками и серыми платками Катюши Масловой.

Но главное не это.

Главное — купе курящее.

Оно птицей порхало по вагонам.

С первого взгляда его можно было определить: едва взглянув на тех, чья судьба была разделить твое одиночество — сроднившись или нет, вот что важно.

Это легче, чем определить происхождение. Это нужнее, чем знать национальность.

Эти, едва протиснешься к дверям, смотрели тоже проницательно и мгновение спустя усаживались плотнее, освобождая тебе место с двух сторон.

Тогда по поездам, по этим купе встречалось много добрых женщин, загорелых в прищуре, отчего глаза их были как богородицын лик, в прямых светлых лучах.

Они говорили: девушка, поешьте.

Курица без одной ноги. Эти тетеньки тогда ездили семьями. Муж при ней был вышучиваемый добряк, молчун сонный, здоровый и мирный.

Ну, хоть печенье возьмите.

Потом они спрашивали: замужем?

Прямо жалко было быть не замужем.

Но, как оказалось, им этого было мало, и тогда они спрашивали: детки есть?

А как рожала, рассказывали сами, коротко взглянув в окно, как смотрят на младенца в люльке: не плачет, и ладно.

...а там свет степи и жизни разрывался на части от восторга, раскачиваемый вагоном, как если бы землю трясли за плечи — без тревоги, а просто сколько ж можно спать.

А она спит и спит, локоть под затылок заведя, и веки ее крупны, что замечено всеми поэтами...

Итак, они жалели меня всегда.

И ясно смотрели, как милосердный брат.

И некоторое время ждали.

Радио ликовало в коридоре, а здесь муж по приказу забирался наверх и радио прекращал с значительным усилием.

Радио захлебывалось на фразе «докладчик отме...»

И вот тогда-то и начиналось российское вагонное курящее выпытывание всех чудес твоей судьбы.

А там чего выпытывать! Сама душа просится слегка покаяться, ты мне только помоги своим удивлением, только разочек ахни, и тетенька пусть всплеснет руками, а я ожиданий не обману, я не посрамлю вот уже брезжущей славы великого рассказчика — я сейчас вам такое расскажу, такое!..

Это наше. Так только у нас. Я не знаю, почему это у одних нас. Виноваты ли просторы, о которых Битов сказал, едешь, глядишь в окно, там корова стоит и жует, на полустанке проснулся — в предрассветной дымке корова стоит и жует.

Она, может, уже давно не стоит, даже скорее всего нет ее, но чувство, которое она вызывала, осталось.

От этого чувства, возможно, и растет дерево разговора, перерастающее затем в исповеди, которых больше нигде не услышишь.

Просторы, а может, теснота купе, внушающая обманное ощущение родства?

Просторы и теснота, а может, еще и неудобства пути, единственно в России вызывающие у человека бесшабашное настроение. Эх! Переживем! Доедем!

Слегка эвакуацией ведь пахнет в вагоне.

Не знаю. А может, муза шляется по шпалам, и это она шасть в купе — и притворится мужиком. Или дурман какой-то заводится в воздухе, когда его раскачаешь, взболтнешь и пустишь на ветер, как пачку ассигнаций,— ведь, раз высунувшись в окно, глотнув ветра, увидев, как изгибается состав в чистом рыже-голубом пространстве, уж никогда не забудешь и остальную жизнь проходишь как дурной, принюхиваясь к воздуху, надеясь повториться в вагонном окне: себе на вечную память.

И это что-то глубоко личное. Это не каток, нет.

А о чем говорили, когда ехали?

Да так. Ни о чем. И замкнулся. И в себя ушел. Значит, этого не трожь. Значит, это на иную почву не переносится, из купе этого не вынесешь, не живет на свету. Да ни о чем не говорили! А у самого глаза затуманились.

Чего только не пересказали. И детство, и работу на рудниках, и чудо спасения от верной смерти, и встречу с медведем, и домовые, пришельцы, и что «на тем свету», и что мужу ты нужна здоровая, а как заболеешь, так и нет его, и что...

А утром действительно как родные. Ну, давайте слазийте сверху, будем завтракать. И опять курица без ноги.

Молчание, не тягостное.

Что это вчера с нами со всеми было? Почему гражданочка вспомнила главную любовь, почему гражданин на верхней полке со мной делился, что расставаться надо без скандалов и здесь главное — ум женщины? Почему старушка после в темноте стукнула в мою полку: вы не спите? Нет, что вы, конечно, не сплю.— «А я вот о чем подумала. Все-таки мы жили хорошо! Все-таки наша молодость чистая была, светлая».

И синий акушерский свет под потолком.

Что это было?

Не знаю. Или душа в своей тьме устала и так распрямилась, похрустела косточками. И опять в клубок. Не знаю. Вы, бабушка, не сомневайтесь, ваша юность и молодость были чисты и светлы. Вы, гражданин из Одессы, не бойтесь: той женщине хватит ума без слез и рыданий. Как хорошо это у вас начиналось, дайте вспомнить. Вы стояли у киоска. Она покупала газету. Купила и пошла было прочь. Но было скользко, и она поскользнулась, и машинально уцепилась за ваш рукав. Вы на нее взглянули, ей было тридцать лет. Это не жизнь. Это просто рассказ какой-то, я вам это ответственно говорю. А на вас, гражданочка, я не обижаюсь. Что вы там говорили про мужей.

— А у меня муж был хороший,— сказала тогда старушка.

Слыхали?

Мы молчим, мы подъезжаем. Мы тихие, и тишина лежит на наших душах не тяжело, а как старинный туман.

Не сомневайтесь, наша жизнь была. А может, даже еще есть. Еще вчера сомневались, бежали на вокзал каждый по своему делу, тащили тяжелые сумки, дома нетепло прощались или ей не позвонили. Короче, неправильно жили.

Сегодня не сомневайтесь: она позвонит сама, внук приедет, удача обрушится не спросясь, строгий хозяин дома встретит тепло. Все еще будет. Что, подъезжаем?

Уже Москва? Привет тебе, Курский. Привет, Казанский!

Они стоят, как часовые на страже последних рубежей Родины.

Они и есть часовые. Вот затоскую, куплю билет на поезд, в вагон подымусь, где паровозной топкой на меня пахнет от печурки в тамбуре, в купе войду, гляну и сразу пойму: мое, курящее? На-а Ти-ха-рец-кую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется... Навру с три короба, пусть удивляются...

Перрон останется! Навру с три короба! Навру!

Только спросите что-нибудь про меня.

Покупаю билет, захожу в вагон. Откатываю дверь в купе. Там люди сидят в белых носках кооператоров. Все купе в коробках. Сажусь с краю и надеваю темные очки. Что ж, значит, кончилось мое купе, настали суровые времена для разговору, и это дерево здесь больше не растет.

Да кто вы такие, ребята?

— Да мы спекулянты! — радостно говорят они.— Вот с Челнов везем на базар в Вильнюс.

А потом полночи за жизнь проговорили.

О чем? Да так...

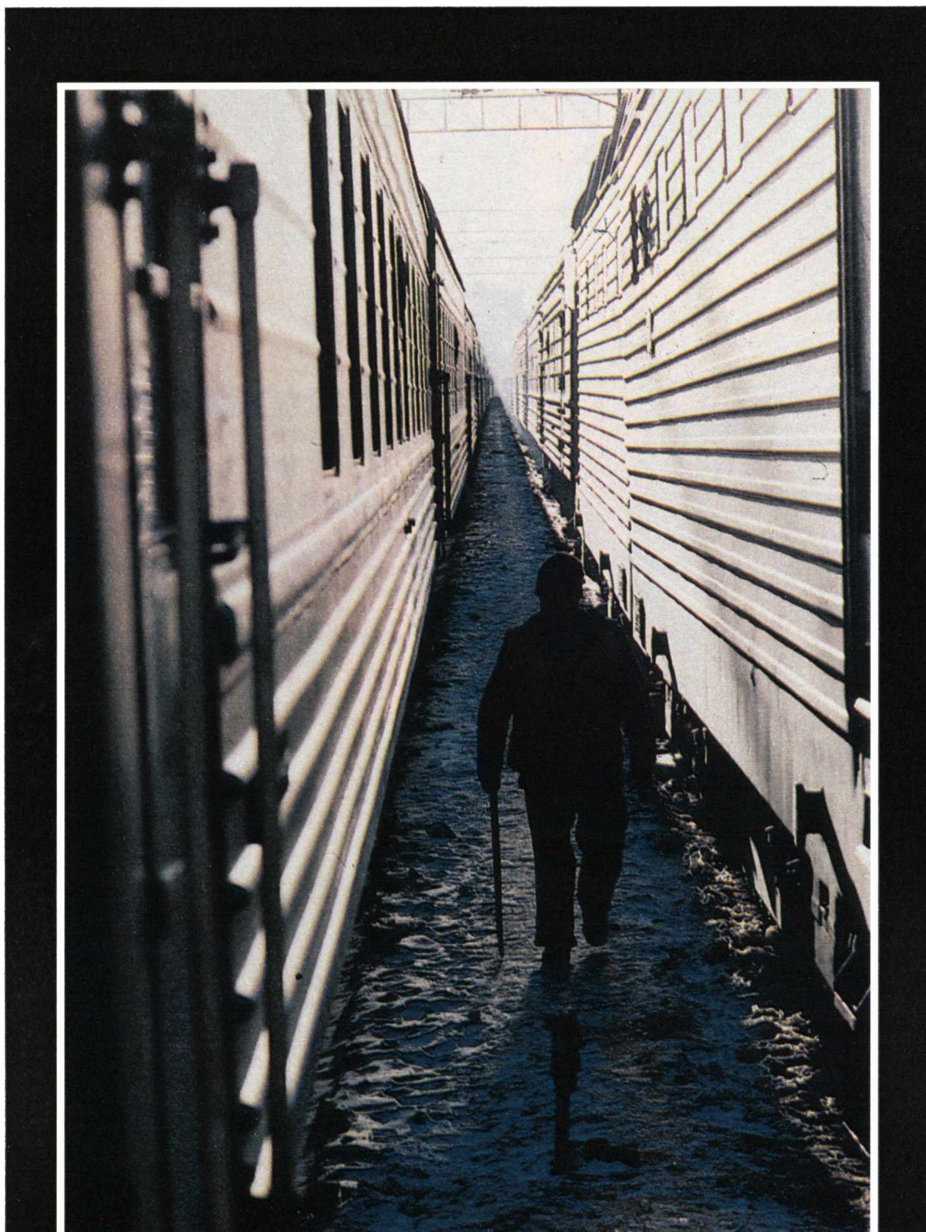
ОГОНЁК



Фото Марка ШТЕЙНБОКА


СПРАВКИ
102
103


РАДИОТЕХНИКА
ВСЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ





Да, конечно, я понимаю, что с нами случилось: однажды весь народ целиком улетел в космос, в фантастическом рывке застыв, не касаясь стопами земли, душою весь в небесах, дыша мечтой и питаясь святым воздухом.

Так и висим.

Но была мечта еще светлее: паровоз. Дальние дали. Светлый железный путь. Как срывал ветер косынки с девушек, высунувшихся из окна! А грохот встречного, а резонанс со всей планетой? А огни полустанков бессонных?..

«Пожалуйста, не плачь.

Пожалуйста: не плачу».

ОГОНЁК

ВСЛЕД

ИРИНА БРЖЕВСКАЯ
1909—1990





СИРЕНЬ. 1980.

НЕЛЕ ТУЛИК С ЯБЛОКОМ. 1984.

Ее портреты обладали удивительным свойством передавать — выявлять основные, часто и владельцу их маловедомые свойства, и, будучи al prima, то есть, не подлежа поправкам, рождали за собой вторые, и третьи, и четвертые — без счету, пока ее собственная душа не насыщалась душою натуры настолько, что могла перейти к другой. Детей она писала с особенным увлечением, и ее спящие дети так воплощали сон, что гостям хотелось тише ходить возле портрета, чтобы не разбудить...

...Ее картины — это дыхание жизни, фейерверком красок брошенной на полотно.

Анастасия ЦВЕТАЕВА

Леопольд ЭПШТЕЙН

ИСТОРИИ НЕ СКАЖЕШЬ: «ИЗВИНИТЕ...»

Как-то так получалось, что стихи молодых поэтов, приезжающих из России в эмиграцию, мне чаще всего не нравились. Они бывали то чересчур остроумны, то навязчивы в своем самовыражении (лишенном откровения), то напропалую гениальны. И потому, когда мне позвонил очередной новоприбывший поэт, особой радости я не испытал. Не были мне близки и его литературные пристрастия, поэтому стихи я его попросил прочесть также из вежливости. Каково же было мое удивление, когда первое же стихотворение мне понравилось! Я не поверил своим ушам и попросил прочесть вторично. Но стихи выдержали и второе чтение.

Это был Леопольд Эпштейн. Ко времени нашего знакомства он успел закончить мехмат МГУ и несколько лет проработать преподавателем Новочеркасского политехнического института. Оттуда он был изгнан под давлением КГБ, после того как вступился за своего арестованного друга.

Лучшие стихи Эпштейна точны, наполненны, как бы зернисты.

Сейчас он живет со своей семьей в Бостоне, работает программистом. Я рад представить на страницах «Огонька» настоящего поэта, оторванного от России только внешними обстоятельствами.

Наум КОРЖАВИН

* * *

Н. КОРЖАВИНУ

«Унесенные ветром» по тридцать второму каналу.
Удручающий холод вестей из далекой страны.
Тут — повозки, семейства и судьбы огнем разметало.
Там — стяжательский зуд и угроза гражданской войны.

Жизнь не сломана, нет, но ее разделило пунктиром,
Лошадь мечется в страхе, Атланта горит и горит.
И сжимает башку от объятого гибелью мира,
От горящих Атлант, от идущих ко дну Атлантид.

«Разделить» или «перечеркнуть» — не имеет большого значенья.
Не синонимы, но так похоже: рисуем черту.
Только ветер свистит, только мусор плывет по теченью.
Только гибнет эпоха и гарью несет за версту.
1990

* * *

Лишиться Отечества — что умереть
И в парке загробном гулять беспечально,
Не мучась ни страхом, ни той изначальной
Тоской, ни гордыней,— гулять и смотреть

На тропики цвета, на радугу трав,
На небо, где облачком, белым и гладким,
Подчеркнута мысль, что земные загадки
Здесь малоуместны. Увы, потеряв

Отечество — переместится не плоть,
Оставив судьбу для витаний бесплотных,—
Душа передвинется в ранг безработных
И будет бездельем жечь и колоть,

Как острый комок, залетевший под веко.
Да, там хорошо, за забором беды,
Там пена морская смывает следы,
Там дышится легче. А здесь, где от века —

Безумие, злоба, невежество, ложь,
Где с мукой на сердце и дулей в кармане
Достигли мы некой мистической грани,
Здесь — в чертовом омуте, в тмутаракани,
Средь мерзости, хамства, бессмысленной дряни —
Здесь прожита жизнь, и ее не вернешь.
1987

НИКОМУ НЕ НУЖНОЕ ПИСЬМО (1902 г.)

Вы скажете: «Ты так бежал из Крыма,
Зачем же возвращаешься опять?» —
Ах, тетушка, судьба необъяснима,
А остальное — что там объяснять...

В расхожих песнях о степном покое
Пыль недостаточно отражена.
Пыль в Симферополе, и пыль в Джанкое...

Моя недоброй памяти жена
По слухам в Вене. Дом весьма запущен.
Да я и сам живу примерно так —
Уж если кофей — то варить погуще,
Уж если карты — ставка четвертак.
В саду, где все мы прежде собирались
За ужином, господствует разлад:
В густом бурьяне тропки затерялись
И пчелы над цветами не звенят.
И вообще здесь слишком знойный климат,
Я телом высох и душой иссох.

Зачем же я?.. Судьба необъяснима.
Ах, тетушка, ну чем я был ей плох?!
1976

ИЗ АРХИВА ПОКОЙНОЙ А. У. В-ой

Ложится лунный свет на желтую поляну.
Бормочет человек немыслимую чушь:
«Я больше ни о чем раздумывать не стану
И больше ни за чью судьбу не поручусь».

Наш маленький отряд идет все глубже в осень.
Бормочет человек: «Мне нечего скрывать».
Морозы по ночам. И рация доносит,
Что красные в Уфе и нам несдобровать.

Есть порох, хлеб, табак. Никто пока не ранен.
И не успел еще никто сойти с ума.
От ранней седины и до могилы ранней —
Огромная, как жизнь, сибирская зима.
1980

* * *

Читаю Вяземского у себя в котельной,
Идя к его усталости смертельной
От подражаний, шалостей и грез.
И слух мой поэтический раздельно
Воспринимает, чувствуя всерьез
И путь его — разомкнутый, но цельный,
И нарастанье боли неподдельной,
И каждый мне доверенный насос:
И воздухоподсос неугомонный,
И сетевой, и циркуляционный,
И третий поршневой, и дымосос.

Читаю Вяземского у себя в котельной,
Немного убаюкан колыбельной
Родных котлов за тонкою стеной,
Витаю где-то мыслию бесцельной,
Слегка рисуясь пред самим собой
Тем, что и я от жизни канительной
Устал, как он, забытый и больной.
Все это, вероятно, ложь и поза.
А за окном — семь градусов мороза.
И чувствуется скрытая угроза
Моей судьбе в связи с его судьбой.

Трясется бойлер, паром трубы грея,
Дрожат, вибрируют стена, и батарея,
И пол, и стол, и ритмы, и слова.
Я не того боюсь, что устарею,—
Боюсь, что станет жизнь во мне мертва.
Мысль не нова, но что поделать с нею,
И суть не в том — нова иль не нова.
Читаю Вяземского. Вслушиваюсь. Мне ли
Судить его закат, его рассвет?
«Слух звука ждет — но звуки онемели,
Движенья ищет взор — движенья нет».

Истории не скажешь: «Извините,
Пересмотрите заново судьбу,
Поэт не умер, он как раз в зените,
В тоске и в грусти — да, но не в гробу.
Не прогрессивен, но зато свободен,
И умудрен, и полн душевных сил».
Но век его прошел, и мой проходит,
А предыдущих — тех и след простыл.
Не мистик я и в холод запредельный
(В ничтожество! — как говорил он дельно)
Готов уйти от здешнего тепла.

Читаю Вяземского у себя в котельной.
Проходит жизнь, а ночь почти прошла.
1986

* * *

Моцарт. Венские концерты.
Утро. Бабочки. Ростки.
Бунт растений. Крах концепций.
Усмирение тоски.

Ожиданье. Предваренье.
Звон копыт по мостовой.
Нарастанье — с повтореньем —
Душной ноты грозовой.

Душно! Душно! Снова лето.
Истрепались плоть и дух.
И летит, летит с рассвета
Тополиный белый пух —

В окна! В окна! В дверь балкона!
Белой вьюгой — дотемна.
И, как сны слепорожденных,
Наша участь неясна.

Моцарт. Венские концерты.
Конопля. Чабрец. Полынь.
Торный путь ведет от центра
В пыль распаханных пустынь.

Больно! Больно! Пить охота.
Я не против и не за.
Тополиная пехота
Приземляется в глаза.

Сохнет горло. Разум тает.
Пух летает. День идет.
Человек не понимает,
Как он коротко живет.

Как он сам смешон и краток —
Словно сбивчивая речь,
Что должна миропорядок
От коррозии сберечь.

Моцарт. Венские концерты.
Холод. Ветер. Град с дождем.
Жизнь приносит нам проценты
Там, где мы их и не ждем.

Мысль беспомощна по сути,
И в трясине топких дней
Изнывает и буксует
Страсть, заложенная в ней.

И поэтому отчасти
Мир безжалостен и сух,
И хоронит наши страсти
Снег, кружащийся, как пух.

И летят, кружатся звуки,
Сообща узор плетут.
Поздно! Поздно! Наши внуки
Наших писем не поймут.
1979

«ДАР»

Государственное малое предприятие

реализует

— персональные компьютеры AT 286 (американская сборка)
— дискеты 5,25 — 1,2 МБ
— видеотехнику (производство Японии)

Предприятие воспользуется услугами посредников в купле и продаже техники, а также в аренде помещения под офис.

Тел.: 181-05-42.

ХОРОШИЙ ДИЗАЙН — ХОРОШИЙ БИЗНЕС! —

СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА «РАЗВИТИЕ»

Декоративные рельефные подвесные потолки из меди и алюминия, десять различных типов стенных панелей, отделанных металлом и кожей, монтаж деталей интерьера на месте бригадами опытных отделочников — ВСЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА — это и производственная программа и философия ПК «РАЗВИТИЕ». Назначение помещения роли не играет — хорошо продуманный дизайн создает «дружелюбный имидж» везде, служит хорошему настроению и продуктивной работе. На международной выставке «Интурсервис-91» изделия ПК «Развитие», защищенные авторскими свидетельствами, понравились и иностранцам, а уж они знают толк в дизайне. Что касается расценок на услуги «Развития», вспомним высказывание отца американского промышленного дизайна Р. Лоуи: «Из двух изделий, равных по цене, качеству и функциональности, лучше будет расходиться то, которое выглядит лучше».

ДИЗАЙН ПК «РАЗВИТИЕ» РАДУЕТ ГЛАЗ!

Телефоны в Москве: 193-84-03, 457-20-85, 181-65-30, 289-21-31.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФКОМ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СОВИНТЕРЭКО
117454 Москва, пр.Вернадского, 76
тел: 433-85-44

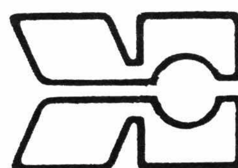


MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS
TUC
RESEARCH, TRAINING & CONSULTING CENTRE
SOVINTERECO
76 Vernadsky ave., Moscow 117454 USSR
tel: 433-85-44

Никто не заинтересован в вашем успехе больше, чем мы!

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «СОВИНТЕРЭКО» Московского института международных отношений МИД СССР

— ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ СП В СССР
Поиск и оценка партнера; участие опытных консультантов «СОВИНТЕРЭКО» в переговорах; проведение технико-экономических исследований с целью выбора оптимального варианта создания СП; подготовка учредительных документов; услуги по регистрации СП.
— КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ
Юридические и экономические рекомендации по созданию, регистрации, налогообложению компаний.
— КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
— РАЗРАБОТКА НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
— ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ НА АБОНЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Телефоны: 434-92-39, 434-70-78.
Факс: 434-92-39.



МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КРАЙТ»

предлагает для фирм и организаций:
— АВТОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА БАЗЕ «ЗИЛ 131-КМ»
— АВТОФУРГОНЫ-АВТОБУСЫ НА БАЗЕ «ЗИЛ 131-Н»
— МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ (фрезерный ЛФ 260 МФЗ с ЧПУ)
Оплата производится по безналичному расчету, как в рублях, так и в СКВ.
ТЕЛЕФОНЫ: 535-35-27 (с 10 до 17 часов), 532-24-32.

АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

(с последствиями полиомиелита, укорочением или отсутствием конечности, последствиями спинальной травмы и пр.) «ПОЛИСПОРТИВА ДОН НЬЕККИ» из города Пармы ищет партнеров из Советского Союза для проведения товарищеских матчей по баскетболу в колясках и по плаванию. Предложения:

— матчи два раза в год — в Парме и Москве,
— количество человек в команде 15—25 (с сопровождающими),
— оплата авиабилетов в стране проживания выезжающей стороной,
— обеспечение благоустроенного проживания, питания и аренды зала (бассейна) — за счет принимающей стороны,
— культурная программа, пребывание в стране 4—7 дней.

Ассоциация имеет опыт подобных встреч в США, Южной Корее, Германии и др.

Для предложений и информации адреса:
в Москве: 125299, Москва, ул. Приорова, 10,
Центральный НИИ Травматологии и Ортопедии Минздрава СССР,
проф. Дурсун Исмаилович Черкес-Заде, тел. 375-22-70.

В Италии: Dott. Tcerkes-Zade Tariel
Casa di Cura „Citta di Parma“
Piazza Athos Maestri – Parma Italia.
Telefon: 0521-243040
0521-583355
Telefax: 0521-493474.

Борис ОРЛОВ,
доктор исторических наук

АРМИЯ НАМ ПОМОЖЕТ?

мысли штатского человека

Смотрю по телевизору, как солдаты прикладом наотмашь бьют гражданских лиц у входа в Вильнюсский телецентр в ночь на 13 января, и тут же передо мной всплывают другие сцены — на Вацлавской площади в Праге в ночь на 21 августа 1968 года. В ту и последующие ночи там стояли советские танки, а рядом с ними солдаты и офицеры. И вокруг — озабоченные, плачущие, негодующие пражане. Могу свидетельствовать, лично я, бродивший в те памятные часы по площадям и улицам Праги, насмотрелся всякого, но вот таких диких сцен, как в кровавое воскресенье в Вильнюсе, в помине не было. Бурные беседы, споры и окаменевшие лица наших солдат. Что они могли возразить? Никто из них не то что за автомат не хватался, слова дурного в сердцах не произнес.

Другое впечатление — выдержка, с которой вели себя солдаты на марше. Дали команду не обращать внимания на проявление эмоций населения — не обращают. Приказали не обрывать во время привала яблони и сливы, растущие вдоль дороги,— не рвут.

В Праге их ждало испытание горше — протянутые к самым лицам руки (смотри, мол, я твой брат, рабочий), слезы женщин, девушек. Многие солдаты только из обращений к ним жителей Праги узнавали, где они и с какой целью их туда прислали.

Мучила ли наших военных совесть? Не знаю. Могу лишь догадываться. Те, с кем довелось говорить, твердили официальную версию: пришли освобождать чехов от контрреволюционеров, задумавших свернуть Чехословакию с пути социализма и развалить Варшавский Договор.

Люди моего поколения помнят фильм «Судьба солдата в Америке». Фильм хороший, судьба тяжелая. Но нет горше и тяжелей судьбы нашего солдата, вынужденного после победы над фашизмом, за которую снискал почет и уважение во всем мире, уже какое десятилетие выполнять роль жандарма. Печален этот послужной список. Берлин-53, Будапешт-56, Прага-68, Кабул-79/89 — это только список деяний за рубежом. А теперь он дополняется и списком такого же рода деяний внутри Отечества: Новочеркасск, Тбилиси, Баку, Вильнюс, Рига. География все расширяется. «Кто на новенького», как поется в одной из песен.

В декабре 61-го я направлялся корреспондентом «Известий» в Берлин. При пересадке в Бресте зашел в ресторан выпить воды. За столиком напротив сидел офицер. Хотя было раннее утро, он уже был «набрамшись». Ни с того ни с сего стал откровенничать. Оказывается, он участвовал в «подавлении контрреволюционеров» в Будапеште. «Мы их во двор загоним и танками к стене давим. Как клопов!». Я отшатнулся от него, как от чумного. А потом, часто проигрывая в голове этот страшный монолог, думал: что это за система, которая могла довести человека до такого скотского состояния? Состояния, при котором сам человек своего скотства не воспринимает.

Полагаю, что и солдаты у Вильнюсской телебашни, пускавшие в ход приклады, были в таком же безумии, как «интернационалисты», расстреливавшие жителей кишлаков в Афганистане. Как те, кто бил саперными лопатками женщин той апрельской ночью в Тбилиси.

Солдаты не бездумные роботы. А тем более офицеры. И ссылка на то, что выполняли приказ, не освобождает их от личной ответственности за совершенное. Но в первую очередь эта ответственность лежит на тех, кто воспитывает в солдате безропотную покорность или приказывает стрелять в безоружного человека. И уж тем более на тех, кто отдал приказ о такой операции или с позволения кого эти приказы составлялись. На их совести главный грех. И пусть не ссылаются на незнание. Все равно по ночам никакая водка, никакая снотворная таблетка не помогут.

Уважать человека — значит говорить ему полную правду. Нужна полная правда и военным. Особенно сейчас, когда «все смешалось». И в Российском доме. И в доме Союза. И в доме, именуемом планетой Земля. Главная суть этих изменений — идеологическая конфронтация уходит в прошлое.

Напомню и то, что наша внешняя политика в 60-е, 70-е годы просто вынуждена была заниматься тем, чтобы куда-нибудь пристроить скопившиеся горы автоматов и более сложной техники. Искать способных обосновать это идеологически и даже литературно не приходилось. Они были тут как тут.

Как-то в доверительной беседе с одним компетентным человеком я невольно выступил в роли простака, заметив, что, мол, зря мы одной ближневосточной стране столько техники военной посылаем, на миллиарды рублей. Ведь не заплатят же! «Да ладно,— доверительно шепнул мне на ухо компетентный человек.— Авось когда-нибудь отдадут. Все равно на своих складах хранить обходится дороже».

Слава Богу, когда этот налаженный военный конвейер грозил не только завалить мир оружием, но и перечеркнуть первые робкие попытки выйти на тропу мира, нас озарило: если мы с американцами не остановимся, планете хана. Все мы помним Хельсинки-75. Первый примерный кодекс цивилизованных отношений в Европе. Наш серьезный поворот к реализму. Первая договоренность относительно военного паритета в Европе.

И вдруг доперестроечные наши газеты облетает новость: американцы собираются модернизировать стоящие у них в Западной Европе «Першинги». Шум поднялся большой. В первую очередь, естественно, у нас. Да и Европа забурлила демонстрациями. Социал-демократы ФРГ по этому поводу решили свой съезд провести, чтобы определиться, рекомендовать правительству социал-демократа Гельмута Шмидта одобрить размещение этих новых ракет на территории ФРГ или нет. Было это в декабре 1979 года, и надо было тому случиться, что я оказался приглашенным на этот съезд. И вот сижу я на одном заседании съезда и слушаю, что говорит министр обороны Г. Апель. А говорит он примерно следующее. Мол, не понимаю, почему такая реакция. Ведь у русских ракеты примерно такого же типа, СС-20, уже выставлены. И их примерно в три раза больше, чем американских «Першингов». И дело не только в количестве. «Першинги» — стационары, то есть под прицельным колпаком, а СС-20 все время в движении, как «катюши». Новые «Першинги» дотянут в лучшем случае до Варшавы, не более того (2500 километров — радиус действия), у СС-20 радиус действия 4 с половиной тысячи километров, то есть могут покрыть всю Европу. Делегаты слушают, поглядывают в мою сторону, не могу ли я дать какое-либо разъяснение. А что я могу ответить? Разве что процитировать очередной комментарий «Правды» на эту тему.

Со временем нам пришлось эти данные подтвердить. И не только подтвердить, а сами эти ракеты уничтожить. Все до единой.

А теперь вопрос непосвященного человека. Зачем нам нужно было гнать эти ракеты с конвейера, как колбасы? Какая была в этом военно-стратегическая необходимость? И сколько нам стоит, во-первых, произвести такую ракету и, во-вторых, такую ракету уничтожить?

Почти уверен, что читатель, дойдя до этих вопросов, никакого волнения в груди своей не обнаружит. Мы приучили себя к безумным тратам. Мы приучили себя к театру абсурда.

Почему я так уверен? Поясню. Министр обороны США Чейни приезжает к нам в Москву, встречается с членами Верховного Совета СССР и сообщает дотоле не известную им новость: в 1989 году американцы произвели 12 баллистических ракет, мы — 140 («Известия», 26 октября 1990 г.). Подчеркиваю — 140. То есть больше чем в десять раз. Ну и что! Кто-то взволновался? Кто-то призвал кого-то к ответу? Кто-то вынес вотум недоверия правительству? Да ничего подобного. Приняли к сведению и пошли дальше.

А ведь баллистическая ракета куда дороже, чем СС-20. Иные качественные параметры. И гоним эти ракеты в то самое время, когда наши бомжи роются на мусорных свалках, находя там все меньше остатков пищи. Это не просто мотовство. Это уже милитаристский пир во время народной чумы.

Все жду, когда министр Чейни сообщит данные по 1990 году. Неужели держим западный темп? Ведь на той встрече он сообщил, что наши конструкторы разрабатывают четыре или пять новых разновидностей ракет. Разработали?

Такие вот дела. И с солдатами. И с оружейниками. Но я меньше всего хотел бы ограничиться критической констатацией происходящего. Все мы дети системы, породившей нас. И защищать родину всегда у нас было делом почетным. А обеспечивать надежную защиту — тем более. И как уловить взаимосвязь между стоянием на посту у военного склада или конструированием какого-то узла к новой военной технике и той военной и военно-промышленной картиной, которая складывалась за минувшие десятилетия, да еще за семью печатями секретности? Каждый делает свое дело. И каждый отвечает только за него. Так, я полагаю, думают миллионы причастных к армии и оборонной промышленности.

А между тем гласность высвечивает и эти темные углы, и все большему числу людей становится ясно: нам не нужно столько солдат, не нужно столько оружия. И проблему надо как-то решать. Как?

Первый вопрос, на который следует дать ответ: а какая армия нам нужна? Ответ компетентных военных: стратегические ядерные силы на профессиональной основе, действующие по принципу разумной достаточности. Это порядка миллиона человек.

По мере того как общий порог ядерных сил в мире будет снижаться, будут сокращаться и отечественные ядерные силы (но лишь в том случае, если логика разрядки не будет приостановлена нашими генералами).

Из этого следует простейший вывод: большинство солдат отпустить по домам, производство оружия сократить до необходимого уровня.

Но как сделать так, чтобы высвободившиеся не чувствовали себя обиженными, не нужными обществу? А ведь речь идет о миллионах людей!

Мне нравится принцип, который часто повторяют германские политики: стараться из нужды делать добродетель. Конкретный пример. На двух соседних участках спиливают старые дубы. Остаются пни. Что с ними делать? На одном участке, пыхтя и потея, пень выкапывают и выбрасывают на свалку. На другом из пенька делают стол, прибив сверху доску, а вокруг ставят кресла из дубовых сучьев. Этакий интерьер на природе. Как вы думаете, какой вариант соответствует нашей традиции? Применительно к нынешней ситуации, как сделать так, чтобы огромный военно-промышленный потенциал работал на «гражданку» и чтобы высвободившиеся в армии головы и руки не просто скучали на пенсии, а приносили пользу — себе самим и обществу?

Тем, кто размышляет о судьбах страны, запомнилась встреча правительства с представителями ВПК уже после того, как была завалена программа «500 дней». Судя по отчетам, директора погрозили правительству пальцем — не балуй! Как выделяло раньше сколько положено, так и выделяй. И правительство вкупе с Президентом скисло. Результаты чувствуем на себе. Но лично меня больше удивило поведение директоров. Признаться, я был более высокого мнения об их интеллектуальных способностях. Как-никак с самой передовой технологией дело имеют да и понимают, что́ могут натворить производимые ими игрушки. Должны же они уметь просчитывать ходы вперед! Должны же понимать, что страна истощена, а распределительный принцип в экономике окончательно дискредитировал себя.

Мне казалось, что, наблюдая все это, именно директора должны были бы сообразить, что как раз для них с их техническим оснащением рынок не страшен — ни на международном прилавке, ни тем более у себя дома. Но вот придумали историю со «сковородочной конверсией». Смотрите, мол, люди честные, как над нами издеваются. Мы самый сложный компьютер можем сделать, а нас сковородки заставляют производить!

Нам всегда указывали на то преимущество социализма, что при нем общество способно на плановой основе комплексно охватить самые сложные проблемы в отличие от капитализма, где «анархия и произвол». Но вот как раз тот случай, когда предоставляется возможность это преимущество продемонстрировать: из военной тачанки пересаживаться всем обществом в гражданский тарантас. И по этой причине сле-

довало бы синхронно снижать численность армии и одновременно переводить производство ВПК (вовсе не забывая о принципе оборонительной достаточности!) на производство современной сельскохозяйственной... нет, не просто техники (хотя и она нужна в первую очередь), но комплексной технологии, оснащенной компьютерными системами. И эту технологию не отдавать сельским начальникам в виде агропромов, а продавать, и в первую очередь фермеру. А государство должно помочь этому фермеру на обзаведение кредитами (вот уж на что у заграницы просить денег не жалко).

А не фантазия ли все это, спросит читатель? Это как посмотреть. Сошлюсь на один пример. Несколько лет назад Евангелическая академия в германском городе Мюльхайме обратилась к нашей интеллигенции с призывом проводить время от времени встречи и на них обдумывать, что можно было бы по неформальным каналам сделать, чтобы народы наших стран двигались к примирению. У нас это обращение поддержала «Литературная газета». Так возникла «Мюльхаймская инициатива». К ней подключились ученые, общественные деятели. И вот летом прошлого года на очередной такой встрече зашел разговор, как нам можно эффективно помочь (надо сказать, к этому времени авторитет Горбачева среди немцев был чрезвычайно высок и все — от политиков до последнего таксиста — были полны желания помочь «Горби»). С нашей стороны высказывались соображения: за помощь и поддержку спасибо, но эта помощь должна быть целенаправленной, чтобы ее не промотала ни за что не отвечающая бюрократия. Но в чем должна состоять эта целенаправленность? И вот, когда мне пришлось высказаться на эту тему, я вспомнил о принципе «из нужды делать добродетель». Как неоднократно сообщалось в газетах, по заключенному соглашению нам предстоит выводить из Германии до 1994 года почти 600 тысяч человек — солдат и офицеров с их семьями. Куда их пристраивать при нашей жилищной нужде, не говоря уж о других проблемах? А что если, предложил я на той встрече, самим немцам на нашей территории с привлечением своих средств и своей рабочей силы построить поселки, города для возвращающихся из Германии семей военнослужащих?

Мои коллеги встретили это предложение сдержанно. Один из профессоров, хорошо знающий нашу военную жизнь, сказал: не получится. Ваши поселки тут же заселят одни генералы.

Но вот идея уже претворяется в жизнь. Поселки такие у нас строятся. Наши пытаются влезть в это дело: давайте, мол, часть работы возьмем на себя. Но немцы — народ уже ученый и натуру наших бюрократов знают. Нет уж, говорят, доделаем все сами и отдадим вам под ключ — въезжайте и живите на здоровье. И, как говорится, дай Бог им продержаться на этой позиции.

Закругляюсь. Терпеть не могу дилетантства. В любом деле. В этом тоже. Я германист, и круг моих интересов там, на Эльбе и на Рейне, в политической жизни этой страны, в теоретических поисках социал-демократии. И не мне давать советы, как устраивать фермерские хозяйства и что делать с ракетами. Но, выражаясь высокопарным языком, я тоже «сын своего Отечества». И мне тоже не все равно, что с нами произойдет. Тем более когда я вижу, что в главных вопросах какой год идет кружение на месте, а общество все больше погружается в трясину. И когда я пытаюсь самому себе уяснить, почему это так, я прихожу к выводу, что главные узлы проблем, которые надо развязывать, связаны с армией, оборонной промышленностью. И в этом смысле судьба солдата, судьба оружейника связана с судьбой каждого из нас: кто, как не они, должен помочь и нам, и самим себе?

ФОТОВЕРНИСАЖ

Рубрику ведет председатель Союза фотохудожников России Андрей БАСКАКОВ.



Александр Кузнецов родился в Сибири, в селе Новоселове. Сейчас оно на дне водохранилища Красноярской ГЭС... Наверное, поэтому еще мальчишкой он начал фотографировать, чтобы запечатлеть на память родные места. Потом были политехнический институт и фотоклуб «Окно», там начал заниматься фотографией серьезно, понял, что это искусство... Изредка участвует в фотовыставках, но чаще слышит от устроителей, что работы его «не отвечают принципам вернисажа».

— А я ведь ничего не выдумываю, — говорит Александр, — снимаю то, что есть. Иногда отчаиваюсь: может, никому не нужны мои работы?.. Но поездишь по Сибири, познакомишься с людьми и как-то сил набираешься.

Александр Кузнецов работает в краевом Доме молодежи, руководит фотоклубом. Десять лет назад судьба свела его с Сашей Купцовым, тогда студентом, а сейчас фотографом Красноярского университета. С тех пор работают вместе.

— Для нас главное, — считает Александр Купцов, — выразить себя не через технику и формальные ухищрения, а через мысль и чувство, прийти к предельной простоте языка...

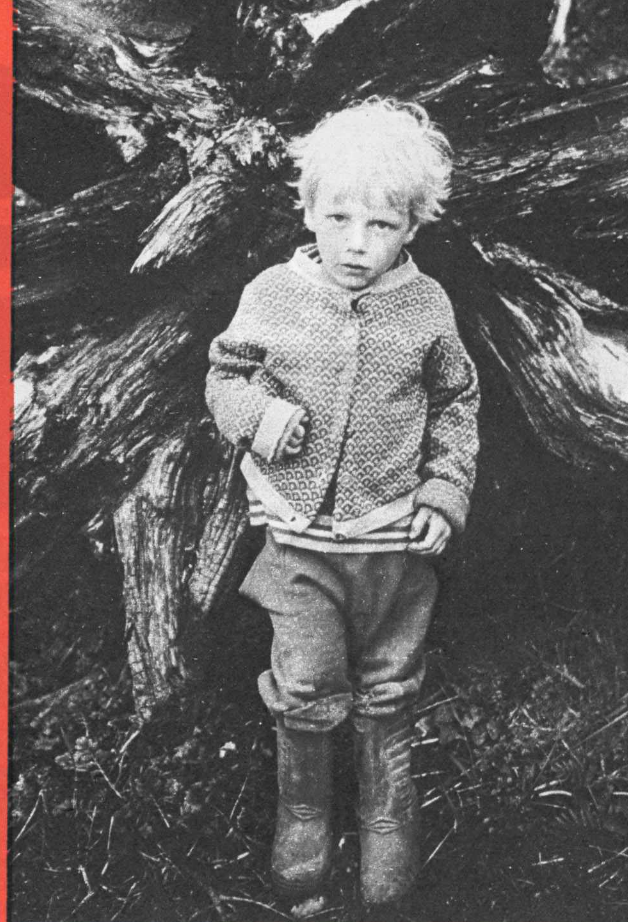
Сергей ЗАДЕРЕЕВ

ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ











ПРОЕКТ «КАЛИФОРНИЯ — СИБИРЬ»

Ассоциация рекламных фотографов Калифорнии, Истмен Кодак компани, Фотографический институт Брукса, Фонд Брукса совместно с координационно-коммерческим центром Красноярского крайисполкома, многопрофильным предприятием «Инициатива», журналом «Огонек» проводят совместную акцию — проект «Калифорния — Сибирь».

Целью проекта является развитие дружеских, культурных и гуманитарных связей, оказание помощи в установлении деловых отношений между американскими и советскими организациями.

Проект предусматривает:

— совместные фотосъемки фотографов США и СССР в июне 1991 года в Москве, Иркутске, Красноярском крае;

— встречи американцев с советскими людьми, общественными и иными организациями;

— проведение фотовыставок в СССР и США;

— проведение фотоконкурса среди фотографов СССР.

Советские фотографы в срок до 15 июня 1991 года могут выслать свои работы на фотоконкурс. 200 лучших работ составят основу советской выставки в США. Победитель фотоконкурса войдет в число фотографов, работающих в составе советско-американской группы в Сибири в июне — июле 1991 года. Призеры фотоконкурса будут награждены призами американской стороны.

ПЕРВЫЙ ПРИЗ — стипендия и год обучения в Фотографическом институте БРУКСА (Калифорния, США) с марта 1992 года по февраль 1993 года.
ВТОРОЙ ПРИЗ — фотокамера МИНОЛТА-МАКСУМ-700 с двумя объективами и фотовспышкой.
ТРЕТИЙ ПРИЗ — Кофр «ТЕМПАК».

Предложения об участии в проекте, фотографии на фотоконкурс могут быть направлены по адресу: 660017, Красноярск-17, а/я 20792, проект «Калифорния — Сибирь».

Аркадий ЛЬВОВ

ШТРАФНИК

РАССКАЗ



В марте сорок четвертого года майор юстиции Арно Соостер получил новое назначение — в военный трибунал ...й армии, на Карельском фронте. В армии вдруг, как бывает только при вспышках эпидемии, обнаружились десятки самострелов — все, или почти все, на северном фланге.

— Люди устали, и еще морозы сорок градусов,— сказали Соостеру в штабе армии.— Наверное, от этого — от усталости и морозов. А вообще, черт знает что: Конев вышел на Прут, а здесь — самострелы! Черт знает что.

Было пять часов утра. Карелакша, неподвижная и безголосая, как Топозеро, на берегу которого сотни лет назад она застолбила кусок земли, чернела позимнему в окружении черных зимних елей и сосен.

Было пять часов утра. Майор Соостер вскочил — над его головой, с улицы, высаживали окно и остервенело дробили стекло. Схватив очки и пистолет, которые лежали на столе рядом, майор вытянул обе руки вперед и стал ждать. В оконный проем, где теперь не было уже ни стекла, ни рамы, затекал морозный, пахнущий льдом и скрипучим снегом воздух.

Держа в руках пистолет и очки, майор ждал: в окно постучали опять, осторожно, с большими паузами, как будто опасались разбудить человека, хотя именно для того, чтобы разбудить, стучали.

— Сейчас, сейчас! — крикнул майор и тоже постучал в окно, потому что тот, на улице, мог не услышать его голоса.

Майор одевался торопливо, хотя две-три или даже пять минут, которые он выгадывал при этом, не имели решительно никакого значения; и осторожный, с большими паузами, стук человека с улицы говорил о том же — что можно и не спешить.

— Сейчас! — крикнул опять майор Соостер, подстегивая себя собственным голосом.— Сейчас.

Умывался майор шумно, и шум создавал ощущение предельного уплотнения времени, отпущенного ему, военному судье Арно Соостеру, которого на улице, где сорокаградусный мороз, ждал сейчас человек.

— Ну вот, мы и готовы,— сказал майор.— Извините, что так долго, сержант. Замерзли, а?

— Успеем еще,— уверенно ответил сержант.— Часа четыре нам ехать. Успеем еще.

— Неужели четыре часа? — изумился майор.— Что же мы привезем им: два окоченелых трупа — майора и сержанта? А докладывать кто будет?

Сержант не ответил на шутку судьи — он сосредоточенно разгребал солому в розвальнях и, когда работа была закончена, велел майору садиться да поглубже зарыться в солому. Каленные морозом соломинки лопались с хрустящим звонким призвуком, как передержанные на огне стеклянные трубки.

— Химия! — рассмеялся майор.— В классе мы давили стеклянные трубки, и химичка не могла догадаться, откуда идет хруст. Ногами давили. А ты успел закончить школу, сержант?

Сержант по-прежнему молча возился у лошадиной морды, потом стал поправлять ватник на лошадином брюхе, и майор, которому в общем-то не позарез нужно было знать, окончил или не окончил школу сержант, его ездовой на один божий день, сгреб на себя солому, закрыл глаза и приказал себе спать.

Дорога военного судьи вела на юг, в сторону Шомбы. Ехать можно было вдоль озерного берега, а можно было короче — через занесенное снегом Топозеро.

— Поедем через озеро.— Сержант не спрашивал, сержант просто сообщил майору, что дорога их пойдет через озеро.

— А не заблудимся? — спросил майор.

— Нет,— коротко и решительно ответил сержант, и эта краткость и приказной тон сержанта не понравились майору, не понравились и внушили ему беспокойство.

— Ну, смотри, генерал-ямщик,— рассмеялся майор,— я целиком полагаюсь на тебя.

Поехали через озеро.

Майор опять приказал себе спать, и даже ездового поставил в известность, что намерен спать, как будто спрашивал у него разрешения. Но сон не шел — получалась только треплющая нервы полудремота, когда мысли лезут в голову беспорядочно и безо всякого спросу. Не мысли даже, а какие-то суетливые человеческие фигуры, все почему-то вполоборота, по поводу которых в голове майора проносились трудноуловимые, неясные, однако же все без исключения тревожные слова.

Убедившись, что сна не будет, майор заставил себя думать о самострелах, дело которых он едет разбирать.

«Люди устали, и еще эти морозы сорок градусов»,— повторил майор сказанные ему в штабе слова и стал думать о войне, которая, очень возможно, закончится нынешним, сорок четвертого года летом, потому что на втором Украинском немцев уже отбросили к границам, и еще месяц-другой — против Гитлера поднимется Европа, а с запада ударят наконец наши — черт их дери! — союзники. Если бы они высадились во Франции прошлым летом, когда немцев погнали от Курска и Орла, рассуждал майор, война бы уже наверняка шла к концу, и никакого дела о самострелах сейчас не было бы, и не узнал бы майор сорокаградусных карельских морозов.

Но союзники — черт их дери! — не высадились, и неизвестно, когда высадятся. Европа еще не поднялась, и неизвестно, когда поднимется...

— Так что,— вдруг заговорил сержант,— не узнаете, товарищ майор? А я вас сразу, товарищ майор, я вас сразу.

Внутри, в горле у майора екнуло, потому что, думая о своем, майор вовсе забыл о сержанте, и человеческий голос прозвучал неожиданно, как с четверть часа назад треск высаживаемой рамы.

— Не узнаете, значит,— повторил ездовой, причем в нынешний раз в этих словах уже ничего не было от вопроса: сержант был уверен, что майор не узнает его.

— Нет,— сказал майор,— не помню. Сорок третий год, Степной фронт?

— Не-е,— протянул ездовой, как будто догадался, что майор просто так, для большей убедительности, назвал конкретно Степной фронт, хотя наверняка знал, что там, на Степном, они не встречались.— Забыли, значит, товарищ майор.

Снег на озере, открытом ветру, лежал неглубоким ровным слоем, лошадиная нога погружалась в него едва до середины голени, но майор почему-то думал о метровых сугробах, в которых можно было бы запросто упрятать их, его и ездового, вместе с санями и лошадью, так что только где-то весной... И еще по той же неизвестной причине думал об огромных, метра три в поперечнике, полыньях, которые невесть отчего могли образоваться здесь в сорокаградусный мороз, так что даже весной не обязательно...

— Ну да,— понимающе продолжал сержант,— откуда вам все упомнить. Всего не упомнишь.

Сержант ошибался: у майора Соостера была отличная память, и еще до того, как он помог ему — сорок первый, сентябрь, Вязьма,— судья вспомнил лейтенанта Старца, Андрея Степановича, осужденного по делу об убийстве сержанта Сироткиной, Людмилы Петровны, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения.

— Не помню,— решительно сказал майор.— Всего, конечно, не запомнишь.

— Вы меня тогда в штрафную роту,— продолжал ездовой, не обращая внимания на слова майора,— а меня надо было расстрелять. По справедливости надо было расстрелять, а вы — в штрафники меня. Где же справедливость? Я человека убил, девчонку девятнадцати лет, а меня жить оставили.

— Сержант, а ты уверен, что не обознался? — сказал майор и удивился собственным словам, удивился еще до того, как произнес их вслух.

— Ну, как же, товарищ судья,— возразил ездовой, и это обращение «товарищ судья» почему-то особенно не понравилось майору,— я и фамилию вашу запомнил: Соостер. Я тогда еще думал, что фамилия еврейская — у них бывают такие фамилии, на «ер» кончаются,— а потом уже догадался, что из эстонцев вы.

— Да,— задумчиво произнес майор,— что-то такое я в самом деле начинаю припоминать.

— Ну вот,— одобрил его сержант, одобрил, как показалось майору, за то, что он оставил наконец свою нелепую игру в прятки.— Конечно, товарищ майор, могли у вас быть и другие похожие дела, но такого дела больше не могло быть.

— Почему же не могло,— возразил майор.— Убийство из ревности — не такая уж редкая вещь. А у тебя, если не ошибаюсь, тоже ведь из ревности вышло?

— Из ревности, из ревности,— раздраженно повторил сержант,— только ревность разная бывает: бывает человеческая, а бывает звериная. У меня звериная была.

— Ну, все это, брат, беллетристика: ревность есть ревность.

Ездовой полез под тулуп за цигаркой, долго рылся там, потом почему-то так же долго никак не мог раскурить ее и вдруг зло, с расстановкой, сказал:

— Утешаете, товарищ судья, а мне на кой хрен ваши утешения! Мне ваши утешения, как баранки на...

Сержант произнес нехорошее слово, и майор Соостер подумал, что надо бы одернуть его, но не одернул.

— Мне ваши утешения, как баранки на ...— повторил нехорошее слово сержант,— мне бы, товарищ судья, простая человеческая смерть, как людям. А вы меня, вместо того чтоб расстрелять, в штрафники — отдай, сукин сын, поганую свою душу за родину-мать!

— Послушай, сержант,— очень спокойно, как сказывается всякое не наобум брошенное слово, произнес майор,— никто тебя не щадил: дали тебе полную меру, по закону, сколько положено, столько и дали. А что смерть тебя не берет, так это уж...

Майор не закончил своей мысли — он, собственно, и не знал, как закончить ее, потому что не решался поддержать сержанта в его вздорной жалобе на смерть, которая не берет его, хотя и было ощущение, что этому здоровому парню в самом деле нужна такая поддержка. С другой же стороны, если человек всерьез жаждет смерти, человек, у которого есть оружие, то...

— Настоящий человек, товарищ судья, сам себя к стенке должен поставить,— зло сказал сержант.— Сам.

«Ну, вот и поставил бы!» — чуть не сорвалось у майора.

Лошадь ступала ровным, точно отмеренным шагом, сани изредка поскрипывали, звезды были в небе позимнему чистые, и Арно Соостер внезапно поймал себя на том, что поддался нелепому сновидению, в котором была война, дело о самострелах и еще дело какого-то лейтенанта об убийстве девушки, его невесты.

— Я, товарищ судья, не всю правду сказал вам тогда.— Первые звуки человеческого голоса, услышанные майором, были далекие, и сам человек, который произносил их, был тоже далеко, как диктор, вещающий из другого полушария.— Тогда я боялся смерти. Боялся, что расстреляют меня: лицом к стенке — и в затылок.

— Нет, сержант,— уверенно произнес майор,— я опять повторяю: никто тебя не щадил, и никто твоего страха и твоего раскаяния в расчет не брал — тебе дали то, что положено за убийство в состоянии аффекта.

Это совершенно точно: в состоянии аффекта. И в приговоре так было записано, да и с самого начала и по всему ходу дела ни у кого не было сомнения — типичный случай убийства в аффекте ревности, обусловленном поведением пострадавшей. И шесть пуль, извлеченных из ее тела, свидетельствовали о том же — что убийца действовал в состоянии невменяемости.

Дело было так.

Восьмого сентября, в половине шестого вечера,

лейтенант Старец, проходя мимо колхозного двора, увидел, как из сарая вышел лейтенант Ярчук; никакого значения этому Старец не придал — только замедлил шаг, совершенно непроизвольно, чтобы увеличить дистанцию между собою и Ярчуком, который был ему неприятен. Неприятен он был ему по причине ухаживаний за Людмилой Сироткиной, где-то с первой декады июля. Тогда же, то есть в первой декаде или середине июля, у них произошел разговор, и он, Старец, предупредил Ярчука, чтобы тот перестал приставать к Людмиле Сироткиной, его невесте еще с довоенного времени. Ярчук, которого, по словам обвиняемого, все знали как самоуверенного хахаля, нагло заявил, что невеста не жена и, кроме того, если девушка захочет отшить хлопца, так она сделает это без помощи жениха.

День или два спустя, по настоянию лейтенанта Старца, они, то есть Людмила Сироткина, Василий Ярчук и Андрей Старец, собрались втроем, и в разговоре, который у них произошел, Людмила Сироткина заявила, что никаких отношений с Василием Ярчуком не имела и не хочет иметь.

Впоследствии Андрей Старец два или три раза застигал их во время разговора, который хотя и тревожил его, однако не давал оснований для достаточно серьезных подозрений.

Восьмого же сентября, в семнадцать тридцать, когда Старец, увидев вышедшего из сарая на колхозном дворе лейтенанта Ярчука, замедлил шаг, почти вслед за ним, лейтенантом Ярчуком, с интервалом в полторы-две минуты, из сарая, осматриваясь и оправляя на ходу гимнастерку и юбку, вышла сержант Сироткина.

Что было дальше, вплоть до момента убийства в сарае, Старец, по его утверждению, не помнит.

Допросить по данному делу лейтенанта Ярчука Василия Николаевича не представилось возможным: тогда же, в ночь с восьмого на девятое сентября, лейтенант Ярчук и четверо находившихся с ним в блиндаже солдат погибли во время немецкого артобстрела вследствие прямого попадания снаряда в блиндаж.

По существу настоящего дела, а именно убийства сержанта Сироткиной Людмилы Петровны, Старец Андрей Степанович признал себя виновным.

— Я, товарищ судья,— повторил ездовой,— не всю правду сказал вам тогда. Я смерти тогда еще боялся. Помню только, что боялся, мысль то есть помню, а какое чувство было, не помню. Я сказал ей сразу: воротись, Люда, в сарай. «Нет, Андрюша, если хочешь поговорить, здесь поговорим». «Нет, Люда, здесь разговаривать не будем — только в сарае». Она не соглашалась, и я силой затолкал ее в сарай, потому что по доброй воле она все равно не стала бы туда возвращаться.

Сержант сплюнул обгоревшую до основания цигарку и полез под тулуп за новой.

— Подожди, сержант,— сказал Соостер,— я тебя «Беломорканалом» угощу.

— «Беломорканалом», товарищ судья,— рассмеялся вдруг ездовой,— уже наугощали.

Соостер тоже рассмеялся, но почти тут же — раньше даже ездового — утих.

— Дверь сарая я нарочно оставил открытой, чтобы света побольше было. Ну, да и без света этого видать было свежеразостланную солому с ямкой от человеческого зада. «А ну, товарищ сержант,— сказал я ей,— садись в эту ямку и примерь ее под свой зад». «Андрюша,— заломила она руки,— да ты же просто псих стал! И как ты мог такую мысль допустить! И слова такие гадкие говорить мне! Андрюша, опомнись: ведь этот сарай не запирается, и всякий, кому охота, заходит сюда». «Мне, Людочка,— говорю я ей,— до чужой охоты дела нет. Мне только до твоей охоты дело». А она опять — что псих я стал, что человеческого слова сказать нельзя мне, что заходила она сюда одна, по женскому своему делу. «А Васенька Ярчук?» «Да ты что,— опять заломила она руки,— да мне плевать на него, на Ваську твоего. И на тебя плюну, если такие гадости говорить будешь». «Значит,— спрашиваю я спокойно,— Васьки Ярчука здесь, в сарае, не было?» «Андрюша, милый,— расхохоталась она, схватившись за голову,— ей-богу, ты псих стал». «Значит,— повторил я спокойно,— Васьки Ярчука здесь не было?» «Не было»,— ответила она шепотом и протянула руки, чтобы обнять меня и поцеловать. «Не было, значит?» — спросил я в третий раз, тоже шепотом. А она уже не отвечала словами, она решила, что дело сделано, обняла меня, прижалась губами и в самое ухо пустила: «Целенькая я». И тут, после этих слов, вроде по черепу изнутри мне дали, и от этого удара под череп я взбесился.

Что не помню, как сбил ее с ног, правду я тогда сказал. И теперь не помню этого. А дальше что было, очень хорошо помню, как будто вчерашнее.

Она лежала на соломе, раскинув ноги, и смотрела на меня, и глаза у нее были наглые, уверенные: ведь не устоишь, не устоишь же ты, Андрюша! И руки она опять свои протянула: ну, иди, иди, мол, дурачок, чего еще откладывать... хватит откладывать. И такая она была, стерва, красивая — никогда такой красивой не была.

«Целенькая, значит, и Васьки Ярчука здесь не было?» — спросил я в последний раз, а она, дура, не понимала, что это в последний, и только губы выпятила и грудь подала кверху: иди же ко мне, псих ты мой... иди...

«И на экспертизу пойдешь?» — сказал я, ожидая, что вот сейчас она испугается, бросится мне в ноги и всю правду выложит. А она: «Ага, милый, на экспертизу»,— глаза закрыла и телом стала елозить по соломе, как будто невмоготу ей.

И вот тут... дайте еще «Беломорчика», товарищ судья.

Судья протянул ездовому пачку, тот взял одну папиросу, но судья велел ему оставить пачку у себя, потому что от курения натощак его, майора Соостера, целый день мутит и в голове синий чад стоит, а когда папирос в кармане нет, так и соблазн меньше.

— И вот тут, товарищ судья, случилось со мной непонятное: в мыслях все время револьвер был, стрелять ее, стерву, надо, а руки мои по брюкам шарят, пуговички из петелек выдавливают. А она ногами уже тискает мои ступни, губы дрожат и желваки по щекам ходят; а колени мои сами подсекаются...

И вдруг опять у меня перед глазами Васька Ярчук — как он из сарая выходит и она, Людочка, тоже из сарая выходит, осматривается и юбку с гимнастеркой оправляет.

Рисунок
Льва ХАЧАТРЯНА.

«Не было, значит, Васьки! — закричал я.— Не было!» — и пулю ей прямо в брюхо, под пряжку, в самый пуп. Я вроде сквозь гимнастерку видел его.

— Помню, сержант,— тихо сказал Соостер.— В связи с этим возникло даже мнение, что убийца действовал с холодным расчетом, как изувер. Но, строго говоря, и в аффекте может присутствовать расчет — маниакальный фокус. Я с самого начала именно так и толковал этот выстрел.

— Подождите, товарищ майор, заступаться за меня,— зло сказал сержант.— Я ведь сам знаю, что к чему. От этой пули, первой, она вдруг села, прижала руками живот и посмотрела такими глазищами, что по одному этому расстрелять меня было мало. «За что, Андрюша? Не виновата я. Не виновата». «И Васьки не было здесь?» Она покачала головой: не было, не было здесь Васьки. Я аж заплакал от обиды: «Умираешь, Люда, а врешь. Умираешь — а врешь. Что же это!» А она мне: «Не будет тебе теперь покоя. Всю жизнь, Андрей, каяться будешь. А я тебя брошу, останусь живая — брошу». И вот тут опять вроде изнутри мне под череп дали. «Нет, не бросишь, стерва, не бросишь, говорю!» — и загнал я в нее еще пять пуль, про которые на суде говорили. Я тогда, на суде, и узнал, что пять, потому что стрелял без счета: первую пулю в живот, хорошо помнил, а про остальные ничего, как будто не стрелял даже.

— Да,— подтвердил Соостер.— ты об этом и на суде говорил, сержант.

Сержант не ответил: у лошади сбился набок ватник, он остановил сани, долго поправлял что-то у лошадиного крупа, потом так же долго возился у большой черной головы, прижимаясь к ней лбом — то под ухом, то пониже, в том месте, где за челюстью начинается шея.

Когда дело было сделано, сержант сказал, что теперь полный порядок и судья может спокойно двигать к своим самострелам.

— Вы им чего, товарищ майор, везете: по девять граммов на голову — соседям чтобы острастка была? Или другим способом дефицит смелости из резервов трибунала покрывать будете? — засмеялся ездовой.

— Неинтересно шутишь, сержант.— громко сказал Соостер.— Поверь мне, очень неинтересно.

— Уж как умею,— вздохнул сержант.— как умею, товарищ судья.

Зря я его дергаю, подумал про себя майор, а сержанту вслух сказал другие слова: закончится война — курсы усовершенствования откроем, приходи.

Впереди, километрах в полутора, стояла сплошная черная стена — ели и сосны, с которых мартовские ветры, гулявшие над Топозером, сдули наземь, где и без того сугробы были по колено, все снега. До этой черной стены, пока не стала она отдельными, четко различимыми при луне деревьями, ехали молча. И как раньше не хотелось Арно Соостеру оставлять берег ради дороги через озеро, так теперь не хотелось ему расставаться с ледовой озерной дорогой и возвращаться на землю.

— Хорошо здесь,— сказал майор.

— Хорошо,— согласился ездовой.

Когда до деревьев осталось сотни две, не больше, метров, майор Соостер вдруг вспомнил, что с детства любит открытые пространства — как всякий, наверное, кто вырос у моря. И тут же спросил:

— А теперь через лес будем ехать или вдоль берега?

— Можно и вдоль берега, а потом кусок дороги через лес, но можно сразу через лес, прямиком,— так короче,— объяснил ездовой.

Поехали через лес.

— Смотри, сержант,— Соостер был недоволен и не скрывал этого своего недовольства,— как бы не заехали мы: берегом все-таки вернее.

Сержант пропустил слова судьи, поправил торцом кнутовища ватник на лошадином брюхе, закурил и продолжал, как будто и не к пассажиру своему обращаясь, а так — в темное пространство леса.

— Когда трибунал судил меня, я думал только об одном — как бы шкуру мою в расход не пустили: звание — черт с ним, со званием, орден — черт с ним, с орденом, а вот шкура... она одна на всю жизнь. Сначала меня определили в штрафбат там же, под Вязьмой, потом на Кавказ, а потом уже сюда, на Карельский, перекинули. Под Вязьмой весь батальон лег — человек десять — двенадцать осталось. И я живой остался. Мне бы что — только радоваться и судьбе спасибо говорить,— а ничего этого уже не мог: ни спасибо сказать, ни просто везению порадоваться. Спать в те дни фриц не давал нам — два-три часа подремлешь, и то удача. Я же в эти два-три часа только сны смотрел: Людмила, живая, проходит мимо, чуть грудью не задевает, а не видит меня; в стороне, спиной ко мне, Васька Ярчук стоит, тоже живой. Я говорю ей: «Смотри, Люда, Васька пришел, тебя ждет»,— а она никакого внимания. И не потому, что разговаривать со мной не хочет, а оттого вроде, что вообще меня нет и это я самому только себе живым кажусь. Сначала появлялась у меня мысль объяснить ей, что она ошибается, что на самом деле я живой и со мной можно разговаривать, а Ваську Ярчука, так того вправду снарядом убило. Но она, как будто уже заранее знала эту мою мысль, быстро уходила куда-то в сторону. И как только исчезала Людмила, такая тоска меня брала и ненависть к себе, что лучше бы и в самом деле был я неживой.

А потом сколько раз она ни приходила ко мне, я уже и не пытался разговаривать с ней: я знал, что Людмила мертвая, но сама она не знает этого и потому ведет себя как живая. Ерунда, понятно, но во сне чего не увидишь.

Время, говорят, лучший врач, а у меня все наоборот получалось: чем больше времени проходило, тем тяжелее на душе делалось. Уж сколько я смертей перевидал — и от бомбы, и от горного обвала, и от мороза, и от огня,— а делалось только тяжелее. Я о Людмиле уже не то чтобы вспоминал, как в первые дни, или во сне, скажем, видел ее, а беспрерывно думал о ней — в разведку, через болото, иду, по самое темя чуть не засасывает, а о ней думаю; от ран, тридцать девять осколков, помираю — о ней думаю. И все сильнее мне правда мозг сверлила: не изменяла она мне, и Васька Ярчук, может, только показалось мне, что из сарая вышел, а может, и вообще не Ярчук это был — когда человека в спину видишь, обознаться ничего не стоит. А что солома в сарае была разостлана и примята, так это в расчет не имел я права брать: сарай-то не запирался. И то, что раза два-три ловил я ее на разговорах с Ярчуком, тоже значения не могло иметь: мало ли чего человек хочет человеку сказать.

Но самое главное я позже соображать стал. Помните: «Не виновата, не виновата. Каяться, Андрей, всю жизнь будешь». Она эти слова перед самой смертью сказала. А человеку перед смертью врать нет смысла, человеку перед смертью всю правду сказать хочется. Меня под Моздоком немец из автомата так прошил, что целую неделю дышал я на ладан, и то, чуть отходил, про жизнь торопился рассказать: боялся, не успею.

— Да,— подтвердил Соостер,— это ты верно подметил, сержант: человеку перед смертью всю правду сказать хочется.

— И вообще, рассудите сами, товарищ майор,— вдруг вернулся к прошлой мысли ездовой,— какой резон ей был изменять мне? Она невестой была мне, а у Ярчука в Харькове жена осталась. И рожа у него вся в прыщах была. Нахальный только был — это да, этого у него не отнять. Я, может, только глупость сделал, что берег ее. Не знаю. Ну, в мирное время, понятно, так надо было, а в войну... Не знаю. Конечно, на войне жизнь свою на минуту вперед рассчитать невозможно, не то что в мирное время, но нельзя же, чтобы человек...

Сержант остановился, ожидая, должно быть, слова судьи, но судья, у которого никакой другой мысли, кроме французской мудрости — на войне как на войне,— в эту минуту не было, только тяжело вздохнул, надеясь, что вздох этот сержант истолкует в свою пользу.

— Вижу, вижу, товарищ майор,— тоже вздохнул ездовой,— вы меня бережете, а про себя думаете: «Какой же ты, сукин сын, человек! Ты ведь человеческую жизнь по звериной ревности загубил!» А я и сам, товарищ судья, знаю, что не человек. И жизнь моя не нужна мне. Родина-мать уже давно простила меня — она три ордена «Славы» дала, звездочки вернуть имеет желание,— а я жить не хочу. По человеческой совести, товарищ майор, расстрелять меня тогда надо было. Вы самострелов этих, у которых дома, может, дети, мать, затылками поворачивать будете, а меня, убийцу... Эх, товарищ, товарищ...

Вверху, где кроны деревьев сходили на нет, серело. Соостер не любил этого первого, предутреннего света — свет был холодный, тревожный, чужой. И мысли, которые приходили перед утром, тоже были вроде не его, Арно Соостера, мысли, а чужие, как этот свет.

Десятого сентября тысяча девятьсот сорок первого года было произведено вскрытие тела сержанта Сироткиной Людмилы Петровны. Исследованиями, произведенными по вскрытии, было установлено, что Сироткина Людмила Петровна, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения, беременна, на втором месяце. Материалы медицинского заключения передали в трибунал.

— Я, товарищ майор, так решил.— сказал ездовой.— Если фриц не найдет меня, я довоюю до последнего дня, чтобы победу увидеть. И конец.



КУЛИНАРНАЯ ФАНТАСТИКА

Константин БАРЫКИН

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Книга по истории или книга историй? Называется «Мясные и рыбные товары. Овощи и фрукты». 271 страница, если с оглавлением. Издание профессиональное, товароведческое; отмечено и общечитательским интересом. Госкомитетом по народному образованию допущено в качестве учебника.

В первой главе — все о мясе. Химический состав, пищевая ценность. Классификация. Что ни страница — то мистификация, варианты на тему «это было, было». Вот, скажем, тамбовский окорок. Тот самый, о котором даже наших премьер-министров не всегда информируют. Именно поэтому развернем характеристику продукта. Книга позволяет это сделать. «Имеет округло-удлиненную форму. Толщина слоя шпика 1,5—4 см. Окорок выпускают сырокопченым... массой 3—8 кг, а также вареным и копчено-вареным, массой 2,5—6 кг».

Учебник утверждает (охотно верю!), что ленинградский рулет принято готовить из такого вот Тамбовского (в учебнике именно так, уважительно, с про-



писной) или Московского окорока. Существуют (?? — **К. Б.**) другие виды окороков — Советский, Сибирский, Московский, Обезжиренный, копчено-запеченный, Воронежский, Останкинский... Ростовский рулет творят только из Воронежского окорока — и не иначе! Форма его округло-удлиненная. Вкус? Не помню. Видимо, хороший. А может, специфический?.. Все это ни в коем случае не путать с таким примитивом, как ветчина вареная в оболочке или, скажем, с ветчинной шейкой).

Полагаю, хотя полной уверенности нет, что эти мясные яства неплохо бы аранжировать капустой «провансаль» или мочеными антоновскими яблоками. Либо — хреном. Сейчас восстановили в своих правах постные дни. Кому-то это традиция, для кого-то — надежда на экономию мяса. Помню, бабушка моя, Анастасия Прохоровна, никогда не позволяла себе подать в постную неделю что-то оскорбительно мясное. А бабушка по материнской линии, Акулина Васильевна, следила за тем, чтобы блины сопроводить сметаной. Подавалась в первый, всегда немного праздничный день Поста севрюга или семга, или лосось балтийский; не самая дешевая, но и не экзотическая еда. Был, помнится, балык. Или икра. Икру мы не очень жаловали. Оттого, понимаю теперь, что не знали, что «икра лососевых рыб превосходит икру осетровых







Фотографии из Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР.

рыб по содержанию белка и почти не уступает ей по содержанию жира». А «зернистая икра высшего сорта должна быть от одного вида рыбы, одного засола...». В наше ультраперестроечное время случается также (книжно-теоретически) икра пастеризованная, паюсная, ястычная (стр. 156—164).

Водились когда-то где-то вобла каспийская («рыба небольшого размера»), тарань азовская («одна из самых вкусных рыб семейства карповых»).

Кулинарные ноктюрны? Потусторонность? Ведь отныне и в обозримом будущем не будем мы иметь в стране победившего социализма такой еды — давайте признаем это. Ветчинные разнообразия, рулеты, паштеты пока еще делают — в скрытых от постороннего взора спеццехах некоторых мясокомбинатов. Но откуда взять азовскую тарань, когда само море Азовское исчезает? Икра? За границей, но не всюду, русскую икру еще можно приобрести. В справочнике «Экономика и внешнеэкономические связи СССР» приведена таблица: в 1970 году мы экспортировали черной икры на 4 млн. рублей, а в 1986-м — на 20 млн. 300 тысяч. Там же сказано, что 96,9 процента икорных продаж приходятся на промышленно развитые капиталистические страны. Более свежих данных справочник не приводит, но внешнеторговый статистический сборник за 1989 год тенденцию подтверждает: продажи пока держатся примерно на таком же уровне. Так что на наш прилавок мало что попадет.

Отдаю себе отчет: авторы книги в этом не виноваты. Это добросовестные специалисты, они пытаются сохранить для нас то, что уходит в небытие, что уже приобретает статус раритета.

Нет — и не ждите? Что же тут скажешь. Если оценивать книжку как одну из первых ласточек нового литературного жанра — как учебную фантастику, то можно понять и принять скромные 50 000 тысяч экземпляров тиража. Но ни в одном техникуме, даже в хазановском кулинарном, ни в одном училище, ни в одном магазине (тем более) не найти и с помощью ОБХСС столь обильного и аппетитного ассортимента. Кое-где, правда, сохранились муляжи — осетры из папье-маше, такого же материала фрукты.

— Приходят ребята из училища и не знают, как правильно расфасовать сахарный песок, упрямо поставляемый нам в огромных мешках без водонепроницаемых вкладышей; как вскрыть бочку, в которой «туда» везли технический жир, а «обратно», на склад или, к примеру, в наш магазин,— подсолнечное масло,— говорил мне директор одного столичного универсама.— Переучиваем на ходу. Отсюда и «профессионализм».

Не выпускать столь ностальгические учебники? Отнюдь. Но отчего бы не ввести и поправочный коэффициент «на успехи социалистической экономики»?

Чтобы не врать хотя бы со страниц учебника.

Михаил КОРЧАГИН,
специальный
корреспондент
«Огонька»

ЧЕЛОВЕК ВНЕ СПИСКА

Он сделал еще шаг и замер на краю. Под ним — 27 метров. И многотысячная толпа, неотрывно следившая за каждым его движением. Следующий шаг мог стать роковым. Но именно его ждал нетерпеливый зритель. И, оттолкнувшись от опоры, каскадер ринулся вниз...

Кинотрюки в исполнении каскадеров В. Жарикова, С. Воробьева, О. Савосина, А. Андреева, А. Малышева

ЛЮДИ ЗА ТИТРОМ

...Это был рекордный прыжок Александра Карина. И я еще вернусь к нему, чтобы читатель знал, как распорядилась трюкачом судьба. А пока обращусь к дневнику, который доверил мне Александр задолго до того прыжка. Это был дневник его друга — известного кинокаскадера А. Андреева, трагически погибшего в свои неполные 27 лет. Среди написанного были и строки, адресованные нам, журналистам:

«Корреспондентам трудно отказать в красноречии при описании нашей романтической и мужественной профессии... Чем только не считают они нашу работу: и хобби, и увлечением! Пишут что угодно, только не то, что нужно... Эффектно описывают наши рискованные кинотрюки, умалчивая о том, что в действительности творится за кадром...»

И, принимая упрек погибшего каскадера, я решил заглянуть за рабочие кулисы кино — туда, где отчаянные парни красиво «умирают» за известных актеров, бесстрашно падают с крыш, устраивают крушения поездов и автокатастрофы, нередко оставаясь при этом за титрами кинолент.

Из дневника:

«Многие из нас работают в кинематографе десятки лет, а что сделано для улучшения условий нашей работы, для качества исполнения трюков? И была ли нам оказана хоть какая-то маломальская помощь? Нет! Трудовой стаж не идет, нет постоянной зарплаты. Профессия не узаконена, нет своей единой базы, залов для репетиций. Приходится делать все самим: седла, упряжь, сложные приспособления для опасных трюков. Все держится на голом энтузиазме...»

Во что же обходится подчас такой самодеятельный энтузиазм самим исполнителям трюков? Я бы представил целый перечень увечий и травм, получаемых каскадерами на съемках. Но грустный этот перечень старательно утаивается киностудиями от постороннего глаза, а сами увечья хитро переводятся в разряд бытовых. Только бы не испортить показания по технике безопасности, лишь бы избежать «строгача» и не лишиться премии...

Нет, я, естественно, понимаю, что невозможно



в такой опасной, рискованной профессии полностью исключить риск, который предполагает и травмы, и даже гибель каскадеров. И тем не менее давайте посмотрим, почему число получаемых увечий не только не сокращается, а скорее наоборот...

В чем, к примеру, «горят» наши советские каскадеры? В обычной одежде, наспех облитой бензином. Поэтому совсем неудивительно, что человек, выполняющий опасный трюк «горение», начинает подчас гореть в прямом смысле этого слова. А ведь имей они спецкостюмы, в коих "горят" их зарубежные коллеги, то число трагедий на съемочных площадках практически было бы сведено к нулю. Наша промышленность не производит таких чудо-костюмов...

Теперь посмотрим, на что падает советский каскадер с высоты многоэтажного дома. Зарубежный трюкач непременно приземлится на специальный надувной матрац. Нашего же исполнителя трюка внизу поджидает куча картонных коробок, собранных самим же каскадером на свалках или в подсобках магазинов. И что, кроме увечий, ожидать советскому трюкачу, если на 20-метровой высоте зависает он на страховке, изготовленной кустарным способом?

«Искусство кинематографа непомерно возросло, зритель стал более требователен к тому, что происходит на экране. Мы, каскадеры, стараемся повышать наш уровень, но при таких кустарных методах становится все опаснее и опаснее работать... Мы ходим по краю пропасти, рискуя сорваться вниз...»

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ТУЛУЗЕ...

Высота — 27 метров. Советские каскадеры Александр Карин и Антон Смекалкин — на стреле строительного крана. Внизу — переполненный стадион города Тулузы, карета «Скорой помощи» и крохотный квадрат спасительной страховки. Впереди — 5 секунд полета. 5 мгновений наедине с небом!

Символом Всемирного фестиваля каскадеров был парящий в голубом небе человек, изображающий парящую птицу. Ее-то и решил изобразить в своем полете Александр, широко расставив в полете руки-крылья.

Последний раз, примеряясь, они посмотрели вниз и оттолкнулись от опоры... Антон выполнил трюк академически правильно и, вовремя сгруппировавшись, удачно вошел в страховку. А Саша... Он явно рисковал, не торопясь группироваться. Перед самой землей ему не хватило доли секунды, чтобы сгруппироваться до конца...

Переполненный стадион взревел от восторга — впечатлительные французы аплодировали полету советского каскадера. Но он так и не услышал оваций, адресованных ему. А когда очнулся, все уже было позади: и вой реанимобиля, несущегося по улочкам Тулузы, и 5 часов борьбы за его жизнь... Слова изнуренного операцией хирурга прозвучали приговором: «Жить будет, но с трюками покончено — перелом позвоночника...»

Жизнь каскадера висела на волоске, когда приняли решение: переправлять больного в Москву. Но аппарат «искусственное дыхание» должен был работать круглосуточно. Его не снимали ни на минуту. Иначе — смерть (при падении повреждены и легкие). И французские медики, не раздумывая, отдали советскому каскадеру дорогостоящий аппарат.

И вот позади тяжелый для него перелет Париж — Москва, впереди инвалидная коляска и месяцы, а то и годы реабилитации. Я, конечно, верю в Сашу, которого и раньше знал как волевого, мужественного парня. Как никогда хотелось бы верить в бесценные эти качества, способные помочь вернуться к полноценной жизни. Верю я и в новейший аппарат профессора А. Лившица, который, надеюсь, совершит «обыкновенное» свое чудо: поставит на ноги каскадера...

Но, рассуждая так, видел я и Сашу, неподвижно лежащего в реанимационной палате. И не давал покоя сонм вопросов: что, если в подобной ситуации окажется очередной, другой каскадер, уже лишенный надежд, неспособный когда-либо подняться? Каковы социальные гарантии того, что навсегда прикованный к постели бывший трюкач будет материально обеспечен и перед лицом старости не окажется за порогом бедности?

ЧЕГО БОИТСЯ КАСКАДЕР

Для ответа на эти вопросы я снова обратился к дневнику Андреева, где оказалась пачка договоров. Такие трудовые договоры каскадеры заключают на период съемок. Читаю одну из строчек:

«Каскадер вправе отказаться от выполнения трюка, если это угрожает его здоровью и жизни...»

Ну, не издевательски ли звучат эти слова? Во-первых, любой трюк (даже падение с первого этажа) всегда «угрожает здоровью и жизни». Да и кто, если не каскадер, выполнит его? Может, директор или гример? И зачем вести фарисейские эти разговоры, если именно выполнением трюков способен он заработать себе на жизнь?

Читаем дальше. Что же ожидает его, если, не дай Бог, подведет самодельная страховка, а «здоровье и жизнь» окажутся у роковой черты? Цитирую дословно:

«В случае травмы «Каскадера» во время съемок и репетиций по вине «Студии» она («Студия».— М. К.) не отвечает за последствия и состояние здоровья «Каскадера»...»

Вот как? Выходит, виновата «Студия», а отвечать потерпевшему? Значит, покалеченный каскадер становится не более чем отработанным материалом? Но и другого-то выбора у каскадера нет: или бросай любимую работу, или подписывай договор — иди в кабалу, становясь крепостным кино. А не подпишешься под кабальными условиями, позовут другого, более сговорчивого. Ну а если «более сговорчивого» вдруг, не дай Бог, подведет его самодельная страховка, то на какую социальную страховку надеяться ему?

Предположим, повезло в плане страховки А. Карину — французская фирма-спонсор выплатила ему 500 тысяч франков. Повезло ему и с верными друзьями, дежурившими в кризисный момент у его постели. (Не могу не назвать их имена. Это каскадеры Виктор Иванов, Антон Смекалкин, Владислав Барковский.) А чего ждать другому переломанному каскадеру, которому не «повезет» на друзей и увечья получит он не во Франции, а в СССР, где ему не положено за увечья ни рубля? Как быть ему? Ждать милостыню от нашего государства, которое так и не поддержало Карина материально? (А ведь там, в Тулузе, каскадер отстаивал честь именно советского кинематографа.) Что касается трюкача зарубежного, то в его договоре оговаривается чуть ли не каждый предполагаемый синяк или вывих мизинца. Их каскадер не пойдет в кабалу к продюсеру без гарантий.

Помню, когда покидал реанимационную больницы № 19, где без движения лежал Саша, у выхода я встретил старейшину каскадерского цеха Олега Ивановича Савосина (зритель знает его по множеству трюков, которые затаив дыхание наблюдал в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Неуловимые мстители», «Освобождение» и десятках других). Он шел навестить Сашу — шел, опираясь на инвалидную палочку.

Четыре года назад на съемках во время прыжка в кузов мчащейся машины он сломал обе ноги. Тот кабальный договор был тогда выполнен с точностью до запятой, и ничего, кроме сочувствия администрации, каскадер, естественно, не получил. К счастью, покалеченному каскадеру пригодился 30-летний опыт работы в кино, и он еще в состоянии подрабатывать в качестве постановщика трюковых сцен на «Мосфильме». А если бы не многолетний опыт и не чисто человеческое отношение к ветерану со стороны киностудии?..

СКОЛЬКО СТОИТ «УТОНУТЬ»?

Иными словами, сколько стоит риск? За какие такие золотые горы, калечась, рискует наш каскадер?

Один американский продюсер, просмотрев фильм «Место встречи изменить нельзя», был восхищен автомобильным трюком, исполненным В. Жариковым и О. Федуловым (погоня Жеглова за Фоксом). «Студебеккер» на полном ходу, пробив ограду и перевернувшись, пошел на дно реки Яузы вместе с исполнителями.

По риску, эффекту и качеству исполнения трюк был одним из лучших в мировом кино. При встрече с Жариковым продюсер спросил, за какую сумму так рисковал каскадер, отметив при этом, что его американский коллега получил бы за подобное около 10 000 долларов. Наш известный каскадер стыдливо ушел от ответа. Дело в том, что любой трюк (и сложный, и простой) стоит одинаково — 56 рублей. Это потолок! Из-за этого, будучи неуверенным в завтрашнем дне, часть каскадеров устраивается на работу по совместительству, дабы было на что существовать.

Кинокаскадер Владимир Жариков, например, работал в Одесском инженерно-строительном институте, снимаясь параллельно в кино. Но был подвергнут гонению за критику зав. кафедрой. В итоге пришлось положить заявление на стол. (О невеселой этой истории рассказано в моем очерке «Досье на каскадера» — «Огонек» № 7 за 1987 год.) Так, оказавшись на улице, каскадер остался без второй работы, гарантирующей постоянный заработок. Но прокормит ли его и многих таких, как он, Его Величество Трюк при столь низких ставках на риск?

За рубежом трюк кормит. У **их** каскадеров гарантированный заработок, миллионные страховки и обеспеченная старость. Им не приходится носиться по студиям в поисках работы. Их каскадер не задумывается о будущем. А наш? К примеру, тот же Жариков. Ему далеко за 50. Он пока держит форму: с легкостью готов прыгнуть с 20-метровой высоты, ловко карабкается по отвесному склону. Но рано или поздно одолеют годы, и врачи вынесут свой приговор. Тот самый приговор, который боятся услышать сотни бесстрашных каскадеров. У них даже нет своей секции в Союзе кинематографистов СССР, нет своего профсоюза.

Я с интересом проштудировал «Классификатор» профессий на территории СССР. Какие только диковинные специальности не встречались мне в том длинном списке, насчитывающем около 7000 профессий: чесальщицы, надевальщицы обуви на колодку, окрасчики сиропа и другие специальности, о существовании которых и не подозревал. А вот всем известную, красочно описываемую на страницах газет профессию так и не встретил. Изучил Закон о пенсиях. И снова исполнители, постановщики трюков выпадают из всех списков.

Не так давно каскадеры России своими силами решили создать и зарегистрировать «Ассоциацию каскадеров России». Радостное, казалось бы, событие. Единодушно избрали своим президентом Александра Иншакова, вице-президентом — Виктора Иванова. Обсудили перспективные планы на будущее. А что дальше? Сможет ли эта ассоциация дать каскадерам нечто реальное: решить вопросы социального страхования, гарантировать пенсии по инвалидности? И представляю, сколько еще раз придется отчаянным парням брать «штурмом» стены наших обюрократившихся ведомств, чтобы правовой механизм защиты заработал и на них — бесстрашных, но бесправных рыцарей экрана...



Как говорится, время вносит коррективы. И не только в цену батона или пакета молока, в значение привычных слов или в то чувство, с каким мы открываем утренние газеты.

Еще недавно казалось — уж чего-чего, а с чтением в нашей стране дефицита нет. «Не успеваю читать» — привычная формула прошлого, позапрошлого года... И вдруг — из небытия — все чаще всплывает привычный вопросик: «Почитать чего-нибудь нет?»...

Не замечали?

И это несмотря на то, что многие авторы, книги, страницы — из очень популярных и очень любимых — далеко еще не прочитаны. Что случилось? Существует ли особая читательская усталость (на фоне разливанного книжного моря), или она — лишь проекция нашей общей глобальной усталости?

Под этим углом зрения смотрит на сегодняшнюю литературную жизнь автор предлагаемой ниже статьи. Под этим углом зрения и привычная «огоньковская» рубрика выглядит слегка устаревшей.

Впрочем, «что читать?» и «что не читать?» — вопросы-то близкие. Почти одинаковые по смыслу.

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ

Вячеслав КУРИЦЫН

ЛЕГКО, РАДОСТНО И ПОКОЙНО

Как бы круто ни была связана советская культура с «прекрасной эпохой», как бы истово ни работала она на большевистскую идеологию, сколько бы гадостей посредством ее и от ее имени ни происходило, все равно: оставалось у нее и вполне самостоятельное значение, значение культуры как таковой. Формы, технология, связи, эстетические механизмы, художественные системы — это сделано, это есть раз и навсегда, это являет ценность уже безусловную.

Это ценность прежде всего музейная, но в качестве таковой она пребудет вечно. Советская культура — уникальный опыт, который не денется никуда и никогда. Как им пользоваться, вопрос другой. Но очевидно: это опыт реальный, серьезный и другого у текущей России нет.

С «музейностью» все более или менее ясно. Подшивки тех газет навсегда останутся в библиотеках, и, как свидетели «духа времени», они незаменимы. Не дай бог сжечь книги Сталина и Брежнева! Нельзя убивать память, какой бы она ни была,— и очень боюсь, что скоро по всей стране сгонят хворостинами с постаментов тысячи худфондовских Ильичей и отправят по этапу на перемолку и переплавку. Много уже говорено про ВДНХ: специально такого чуда создать невозможно. Огромный мертвый город, одиозная архитектура, пустынные аллеи, бездыханные фонтаны, у которых назначают по ночам свидания призраки коммунизма и привидения времен первых пятилеток: это должно существовать всегда — как потрясающий эстетический факт и как напоминание о прежней жизни. Но ВДНХ уже портят вовсю — совместными предприятиями, шашлычниками, перестроечными ярмарками. Это все, очевидно, здорово, но страна теряет памятник, равных которому нет и не будет в мире. Не жалко?

В конце прошлого года я впервые в жизни побывал в Центральном музее В. И. Ленина на Красной площади. Это самое сильное мое эстетическое впечатление последнего времени. Бешеное количество экспонатов обусловлено установкой: в Ленине нам интересно все, потому мы поместим в музей всякую мелочь, всякую побрякушку, имеющую к нему отношение. Вплоть до самых абсурдных (стул, на котором Ленин сидел в Британской библиотеке; ленточка, которую он разрезал, открывая чего-то; плащ Дзержинского, в котором Ленин ушел (?!) с конспиративной тусовки). Залы подарков Ильичу — прекрасная иллюстрация иррациональности форм проявления всенародной любви. Изделие из кости, усеянное жанровыми сценками из жизни якутов: Ленин на олене едет к якутам, Ленин сидит с якутами, разъясняя, однако, политику партии.

Доходящее до анекдота стремление возвысить даже и физический облик вождя. В витрине — личные вещи Ленина, из размера которых неотвратимо следует понимание того, что гигантом Ильич не был. А рядом — чтобы впечатление уравновесить — многометровая скульптура Владимира Ульянова. Или другая скульптура — Ленин на броневичке,— символизирующая, насколько я понял, преемственность эпох: полное композиционное совпадение с «Медным всадником». Ну, змеи снизу только нет...

Кинозал, где каждый час крутят порцию старой кинохроники. Мы с другом заглянули: ни одного человека, но фильм идет... Мы бродили по громадным пустым залам, отмечая подавляющее численное преимущество служителей перед посетителями. Изредка пересекались с экскурсией вьетнамцев, послушали, как наш экскурсовод безуспешно пытался втолковать ихнему переводчику значение словосочетания «Бонч-Бруевич».

Где-то к залу двадцатому мы сделали важное открытие. Мы сами себя почувствовали экспонатами Музея Ленина. Мы поняли, что люди, переходящие как заведенные от стенда к стенду, возлагающие взгляды, как венки, на сакральные экспонаты, послушно переживающие этот ритуал памяти,— они и есть воплощенное, вочеловеченное торжество идей Ильича. А когда в одном из последних залов мы увидели одинокую беременную женщину, нам стало наконец-то страшно... Идти со священным плодом во чреве не в церковь, не к лесному роднику, а в музей основателя первого в мире...

И эту культуру похоронить? Эти музеи разрушить? Вот уж когда мы окончательно и бесповоротно станем не помнящими родства... Но и в Музее Ленина (промелькнуло недавно в газете) уже показывают диснеевские мультики...

...Это все — о причинах, по которым не хочу сбрасывать соцреализм с авианосца современности лично я.

Теперь о причинах, по которым не хотят прощаться с ним люди, что долгое время забивали своими фамилиями журнальные и издательские планы. Дело ведь не только в потерянном (или уже, или в ближайшей перспективе) месте у пирога. Дело в более серьезном: интеллектуальном комфорте.

В повести Александра Верникова «Зяблицев, художник» («Знамя» № 3, 1990) есть показательные персонажи: две девочки, работающие оформителями всяческой наглядной агитации на большом заводе. «Девчонки ликовали, как по поводу грандиознейшего открытия, если им особенно удачно и ловко удавалось изобразить дым, вылетающий из заводской трубы в виде колец бросаемой на ветер металлической стружки или денег, водочные бутылки — как стволы артиллерийской батареи, направленной на семью; белого голубя, незаметно переходящего в ладонь, одновременно держащую и осеняющую маленький земной шарик... Сливая воедино руку и голубя, изображая злодея-империалиста сеятелем смертоносных зерен — пуль и снарядов — или представляя ядерный арсенал некой мрачной чащобой, которую расчищает и вырубает развеселый русский мужичонка в фуфайке, валенках, рукавицах и ушанке, они восторгались даже не только своей выдумкой и фантазией, но и — неосознанно — прежде всего тем, что все на свете вещи и формы так близки и родственны друг другу и с легкостью переходят одна в другую, перевоплощаются, как в цирке шапито. От этого делалось легко, радостно и покойно».

Работать в советской культуре было именно что легко, радостно и покойно: внятная расстановка идеологически определенных фигур, четкая композиция, неизбежно прикатывающая сюжет к объявленному («традицией» и партдокументами) результату, ясность нравственной концептуальности, расчисленный расклад характеров. Плановое хозяйство. Действительно, черт побери, приятно, когда все понятно и ясно. Такую литературу не только писать, но и читать удобно: предугадывая фабульные происшествия, чувствуя себя равновеликим писателю, а значит, и культуре вообще.

Непритязательность всегда нравится. Но опять же смотря кому. Я вполне представляю себе читателя, которого могла обвести вокруг пальца даже немудреная замаскированность идейного содержания знаменитой «Тли». Это великолепный советский текст; слово «великолепный» я произношу без всякой иронии: автор «Тли» знал, для кого пишет и как для этого человека писать.

Несколько лет назад Т. Иванова писала в «Огоньке», что «Тля» — роман очень смешной. Смешной, конечно. Но надо учитывать две вещи: смешон он для очень незначительной части читателя, большинство-то его воспринимало всерьез. Но проблема не в этом даже, а в том, что и у тренированного читателя все эти глупые игры с фамилиями (Наум Осипович Иванов-Петренко) производят в мозгах какие-то очень серьезные трансформации. Вполне интеллигентные евреи с какой-то ненормальной подозрительностью относятся к каждой, даже вполне безобидной, «расшифровке псевдонима». Телекомментатора обвиняют в черносотенстве на том основании, что он ругнул подряд пару-тройку депутатов-евреев. У нас в Свердловске «группа граждан» протестует против возвращения городу родного имени (Екатеринбург) только потому, что в борьбе за возвращение участвует наш аналог «Памяти». Сумасшествие какое-то.

То есть примитивная однозначность, наивная разграфленность сделали свое дело. Нас научили мыслить примитивнейшими из категорий, мы привыкли к уютному мировосприятию, от которого «легко, радостно и покойно» — если не на душе, то в голове. Мы во всем хотим дойти не до самой сути, а до схемы, и не успокаиваемся, пока не дойдем. Как только стало можно, стремительно вознесли Бухарина и Раскольникова и очень не сразу сообразили, что они просто более интеллигентные душители отечественной словесности, чем Жданов, но все равно... душители. Аудитория жадно проглотила многомиллионный тираж романа про Сталина и К° и потому еще, что жаждала новой схемы. Теперь читает триллеры А. Кабакова, где ясно сказано, «чего будет». Мы по-прежнему хотим думать все вместе. И более или менее одинаково. Иначе не умеем.

...Одним фактом сочинения статьи о поминках по советской литературе Виктор Ерофеев блестяще доказал, что она жива. Тут вот что за штука. Тексты Ерофеева («со товарищи») — это одна из немногих реальных ценностей, что появилась, развилась и укрепилась в годы господства эстетики Музея Ленина. С. Чупринин заразил всех термином «другая проза». «Другие» отталкивались от «недругих» по всем направлениям. У них, грубо говоря, были другие «политические» установки. У них были несколько иные нравственные установки, о чем «грубо» не скажешь, тема отдельная, но сам тезис совершенно очевиден для того, кто читал, скажем, «Русскую красавицу». Они — самое важное — напомнили, что в литературе можно и нужно много играть, что она должна быть по возможности ненудной, что у нее «внутри» есть какие-то «свои» проблемы, часто не замотивированные «реальной действительностью».

Словом, можно было поверить, что они и впрямь «другие». Мешала, правда, одна вещь. В прозе Вик. Ерофеева, Т. Толстой, В. Пьецуха, П. Кожевникова, Е. Попова прослеживалась такая особенность: стремление разделаться с неугодной действительностью (а жизнь в их текстах, мягко говоря, нехорошая, нелюбимая жизнь) литературными методами: фейерверком метафор, умением увидеть во всякой ситуации кучу сюжетов и так их перекрутить, что от изначальной реальности ничего не останется, умением раздробить эту жизнь на кубики цитат из произведений, старавшихся опосредовать ее как-то «всерьез», а потом пересыпать все крутой иронией (по природе своей отгораживающей от предмета речи).

Оставалось неясным, что важнее: «уход» от реальности, то есть собственно **защита**, или все же счастье от умения приручать слова, от свободного существования в самодостаточном пространстве культуры.

Разница принципиальная. «Отвергая», «побивая» жизнь, ты тем самым весь остаешься в ее территориях, ты работаешь или играешь именно с ней, ты от нее зависишь, как и вся «советская литература». А органичное и не требующее объекта противостояния бытие в пространстве культуры означает, что ты действительно «другой».

Хороня советскую литературу, Еро-

феев выдает в себе «ее» человека. Он признается в недостаточности своей «экологической ниши». Она, ниша, оказывается генетически связанной с соцреализмом. Ерофеев не выбрал пространство культуры как естественную среду обитания; он сознательно уходил туда, противостоя непереносимому официозу; не будь официоза, не пришлось бы и уходить.

Противостояние не означает отчужденности, вовсе наоборот. «Неофициальная» культура — такая же советская, как официальная, и по праву рождения, и по методам. В общесоветском контексте «нонконформисты» и «диссиденты» существовали вполне органично. Их неразрывная связь с контекстом очевидна. И они были частью советского искусства как общего дела, происходило типичное разделение функций: одни гонители, другие гонимые — в одной координатной сетке.

Расставаться с «советским периодом» в развитии русской культуры нам будет сложнее всего именно потому, что мы — осознанно или нет — жаждем единства, всеобщей повязанности и переплетенности. У нас есть уникальная вещь — «литературный процесс». Есть десяток журналов, в которых концентрируются, как принято считать, лучшие или самые показательные произведения. Все без исключения толстые журналы — колхозны, в том смысле, что ориентируются не на личного своего, не на специализированного, но общебазарного читателя.

Писатели объединены в общий союз, при местных отделениях функционируют секции и литобъединения, самый незначительный стихотворец принимает участие в выборах делегата на съезд, где будут решать, какие журналы хорошие, а в каких надо менять редакторов. Пирамида. Тот, кто внизу, может субъективно страдать, но все равно чувствует себя причастным ко всеобщему процессу: одно дело делаем.

Удивительная профессия критика, литературного журналиста возможна только в этих условиях, на фоне всеобщей договоренности о том, что столичные журналы адекватно отражают литературную реальность, и о том, что процесс вообще существует, что есть в нем «тенденции»...

Ну, а как нет его, процесса? Если мы его себе придумали, в нашей-то тяге к общему делу? Кем мы будем, если процесса завтра не станет? А его не станет, толстые журналы — из-за неизбежного дальнейшего роста цен и при общей потере интереса к словесности — обанкротятся, всерьез окупать себя смогут только сугубо коммерческие издания, подавляющая часть собственно литературы расползется по углам, по мелкотиражным журнальчикам, существующим, допустим, при университетских центрах, как на Западе. Рушится гораздо больше, чем семидесятилетняя культура, рушится главная национальная парадигма: литература — дело государственное.

А литература «настоящая» — дело частное. И тот, кто собирается продолжать заниматься именно литературой, скоро окажется перед фактом снижения количества читателей с гипотетического миллиона (тираж нынешнего журнала) до тридцати тысяч (нормальный тираж завтрашнего журнала, книжки). Это естественно. Но нам это страшно, мы так не привыкли.

Сегодняшняя растерянность (проявляющаяся в том хотя бы, что отделам критики всех изданий откровенно нечего печатать: «Наш современник» в «критике» выясняет отношения с сионистами, «Знамя» под этой рубрикой публикует статью о провале «патриотов» на выборах, все «гонят» мемуары и т. д.) абсолютно органична, иначе быть не может. Но на самом-то деле началась эта растерянность далеко не теперь. То, что система (не политическая, культурная) при смерти, многие чувствовали и десять, и пятнадцать лет назад. Советская литература слишком долго варилась в собственном соку, а мы даже из школьной физики помним, что система, не потребляющая энергии извне, обречена на крутую энтропию, на вырождение, на распад. Эйфория и журнальный бум первых лет перестройки были скорее агонией, последней вспышкой активности погибающего организма.

Куда сегодня можно идти? О литературе, продолжающей ставить на массового читателя, мы рассуждать не будем: ясно, что без труда останутся на плаву детективщики, спецы по «жесткой прозе» (с перманентным увеличением степени жесткости — наркоману каждый раз нужна большая доза), писатели, умеющие профессионально сочинять повести-очерки «из жизни перестройки»... А еще — куда?

Сначала о тех, кто сплотился под лозунгами «русского пути» и «национального возрождения». Никто никогда не отнимет у «почвенников» их заслуг, никто не отменит ценности их вклада в борьбу с идеологическим тоталитаризмом. Но нас интересует нынешнее состояние этой литературы.

И состояние это вряд ли можно считать... ну, допустим, живым. Не только потому, что новые публикации и книги Ю. Кузнецова ничего не прибавляют к его заслуженной известности, что Распутин и Белов давно не писали ничего сравнимого с их былыми вещами, что Кожинов весь ушел в прикладную историю, из которой время от времени вытаскивает выводы — один страннее другого... Хотя и этот показатель — один из решающих, «главные» перья, по сути, уже немы. Их менее титулованные ровесники тоже не прибавляют особой славы русской литературе. Новое поколение — Н. Шипилов, Вл. Славецкий, П. Горелов и другие — люди, вне всякого сомнения, более образованные, более, что ли, фундаментальные; их деятельность по публикации, «презентации» и комментированию старых текстов, безусловно, важна; этого опять же не оспорить.

Все так, но... Для меня главное «но» состоит в отсутствии новых, живых идей. «Возвращение» и «возрождение» — это, надо полагать, прекрасно (хотя я, например, сильно сомневаюсь в практической перспективности этих дел; вряд ли наберется хоть сколько-нибудь существенное количество людей, способных немузейно переживать добрую старую славянскую эстетику, что, конечно, не означает, что ее не надо беречь). Но смущает установка на законсервированность форм и канонов, на отсутствие эстетического движения, смущает неверие в возможность хоть отчасти новых гуманитарных идей. И тем более все это смущает в сегодняшней ситуации: совершенно очевидно, что старое работать не будет, что Россия теперь — страна совсем другая, нравится это или не нравится. Можно, конечно, предположить, что она стала такой потому, что в свое время не послушали, допустим, славянофилов, но совершенно невозможно предположить, что их можно послушать задним числом.

...Я ловлю себя на совершенно советском характере своих «смущений». Мои претензии сводятся к отсутствию у «русских» позитивной программы. Но сам подход — все тот же наивно-колхозный. Позитивной программы я могу требовать от кого-то, лишь предполагая дальнейшее совместное существование в едином контексте, предполагая общее дело. Но я, кажется, предполагал совсем другое: естественное распадение «процесса» на множество «субкультур», каждая из которых может жить вполне автономно. «Новые русские» выбрали свой вариант: жить историей. И я не имею права сомневаться в их выборе, а уж тем более его осуждать. Мне, в общем, чужды славянские древности, что вовсе не мешает с уважением относиться к работе, им посвященной.

Другое дело, когда начинается поиск «врагов русского народа». Но, во-первых, перечисленные здесь «новые» к этому отношения не имеют, и, во-вторых, лиц со «сдвинутой» психикой полно в любой компании, что вовсе не ставит крест на течении в целом. Можно сказать, что это «не мое», но не более...

Мне, как человеку со стороны, «возрожденцы» кажутся очень одинаковыми: активно оперируя понятиями «духовность» и «историческая память», они никак не объясняют толком, что это за штуки такие. Начинает казаться, что предложенные категории лишены всякого живого содержания. Одни уповают на христианство, другие говорят, что сионизация Руси началась с Крещения, одни, как В. Славецкий, с искренним интересом относятся к литераторам из «противоположного стана», а другие, как Л. Баранова-Гонченко, просто ругаются на модернистов едва ли не матом, а эстетические основания во всех случаях как бы одни и те же. Историческая память и духовность.

Как-то раз мне по долгу службы пришлось отсидеть три дня на фестивале «металлического рока». Впечатление примерно такое же, как от текстов сторонников «русской идеи»: три дня абсолютно однообразной музыки. Но сами «металлисты» выделяли в этом грохоте десяток разных течений, вплоть до враждебно противоположных. Так что смотря откуда смотреть...

С началом фактического издыхания соцреализма, где-то в конце 60-х — начале 70-х, расцвел «соц-арт» — самый веселый, пожалуй, вариант выхода из общекультурного тупика.

Вот текст классика соц-арта Дмитрия Александровича Пригова:

Вашингтон он покинул,
Ушел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Американцам отдать.

И видел: над Кубой
Всходила луна
И бородатые губы
Шептали: хрена
Вам.

С точки зрения «официальной идеологии» придраться тут не к чему: автор ни в чем не противоречил действующим установкам. Эстетических претензий тоже вроде быть не должно: внятно-понятно всем, вплоть до «простого народа» (чего уж понятнее: «хрена Вам»). Но тем не менее совершенно ясно, что данный текст — издевательство как над этой идеологией, так и над этой эстетикой. У текста как бы два автора: тот, что «снаружи», пишет произведение как бы от лица персонажа — поэта-соцреалиста, и его отношение к этому персонажу совершенно прозрачно...

Здесь мы обойдемся двумя признаками соц-арта: он доводит до логического предела стиль советского искусства; он погружает соцреалистические тексты (например, «Вперед, к победе коммунизма!») в другой контекст, где они выглядят, как стриптиз в Эрмитаже. И то, и другое — с одной целью: профанировать первоисточник.

Идея оказалась простой и перспективной. Осуществить исходный посыл — дело нехитрое, а дальнейшее зависит от фантазии и чувства юмора. Изгаляющаяся фантазия — самая богатая. В работах Комара и Меламида, И. Кабакова, Булатова (художники), В. Сорокина, А. Козлова, Вик. Ерофеева (литераторы) «находки», «крючки», хохмочки, нюники, прикиды и прихваты сыпались новогодним конфетти. Это было здорово, весело, молодо и по-настоящему смешно. Когда придумывается новый способ шутить, это всегда здорово. Правда, довольно быстро надоедает. Заниматься соц-артом — тоже «легко, радостно и покойно».

То, что соц-арт, как искусство отрицающее, погибает вместе с объектом отрицания, это понятно (об этом ясно говорил в «Огоньке» А. Генис). Но вот следующий вопрос: что остается, когда отслаивается идеологическая подкладка?

Во-первых, придурковатая интонация. Новейшие адепты метода, «нутром чующие», но не особенно понимающие, что изгаляться над телом соцреализма уже смешно, изгаляются над всем подряд: над любым — натурально — фактом реальности и культуры, над любым явлением, над любой стилистикой. Маска придурковатого автора, которому безразличен предмет речи, который издевается над всем, вплоть и до самой своей речи,— в неформальных кругах это получило звучное имя «стёб». Достичь успеха здесь гораздо сложнее, чем собственно в соц-арте: помимо владения приемом, необходимо серьезное мастерство и умение «управлять» своим вкусом (провалы вкуса «по делу» — условие игры). Удач, на мой взгляд, крайне мало — та же «Русская красавица», вызывающая отвращение к жизни и литературной деятельности вообще, «Митьки» Владимира Шинкарева, рок «Аукциона» и «Водопадов». В целом же эта культура — зрелище достаточно жалкое: огромные толпы поэтов-иронистов и комиков-музыкантов успешно компрометируют в глазах публики то, что она по неведению принимает за андеграунд.

Но остается и другое. Я уже замечал, что механизм противостояния «жизни» в «новой литературе» — это предпочтение пространства культуры. И соц-арт — работа с культурой соцреализма — всего лишь частный случай. Истинная альтернатива — предпочтение пространства культуры вообще, культуры как материи мысли и духа. И для Пригова, и для Еременко, и для Соколова, и для многих других советская культура и соц-арт — лишь локальная точка приложения сил. Реально «другой» культурой является **постмодернизм:** именно он последнее на сегодняшний день и — во внутрикультурном плане — единственно актуальное эстетическое состояние.

Признанные классики постмодернизма — Набоков и Борхес. Для них главным из всех возможных критериев отношения к действительности является эстетический; то есть именно эстетическими законами «реальная жизнь» управляется, именно по ним происходит и, исходя из них, судится. Ясно, что в советских условиях даже намек на такой подход получал ярлык элитарности; в наших пролетарских пространствах этот метод выжить просто не мог. Едва ли не единственный автор с постмодернистскими установками, более-менее сносно существовавший в официальной культуре,— Андрей Битов (но показательно, что главный и самый «постмодернистский» его текст — «Пушкинский дом» — опубликован только в новое время).

Отечественный постмодернизм еще только набирает силу. Но появление таких авторов, как Андрей Левкин, Александр Верников, Дмитрий Бакин, Аркадий Драгомощенко, Виталий Кальпиди, позволяет надеяться на лучшую судьбу словесности. А тот факт, что большинство из этих фамилий скорее всего незнакомо читателям «Огонька», свидетельствует о незначительном пока интересе нервничающего общества к внутренним проблемам культуры.

Что же, всему свое время.

Свердловск

РЕСТАВРАЦИЯ

«В России возрождено Дворянское собрание». Это мы прочли в газетах, услышали по радио, увидели по телевизору.

Возрождено Дворянское собрание недавно созданным Союзом потомков российского дворянства.

Восстанавливается связь времен. Возродились кадеты, демократы, анархо-синдикалисты. Теперь вот — дворяне.

Но скептики не умеют простодушно радоваться всеобщему Ренессансу.

Скептик думает: если «Союз **потомков»,** то и «Собрание **потомков».**

Потому что, видите ли, Дворянское собрание — это собрание дворян, а не потомков.

Дворянство — это же не только кровь. Дворянство — это и честь.

Восстановление прошло совершенно по-марксистски. По крови.

Дворян уничтожали за кровь, не за личность.

Теперь «восстанавливают» по тому же критерию: за кровь.

А честь?

Какие футболисты в стране, где футбол запрещен, а за хранение мяча — расстрел?

Какие аристократы без высшего общества?

И до Катастрофы дворяне, бывало, удалялись от света. Но — по собственной воле и размышлению. Или — по слову Государя.

И — в деревню. Читать, лечить, учить.

Это чести не задевало.

В актеры — да, случалось.

В завмаги — никогда.

А честь и жизнь при советской власти? «Вещи несовместные».

С точки зрения российского дворянина, наша жизнь — непрерывные оскорбления и унижения.

Для нас — привычные, терпимые, почти не замечаемые.

Для них — смертельные.

И Пушкин, и Бенкендорф умерли бы от инфаркта, столкнись они с советским швейцаром, с советским официантом, с советским извозчиком.

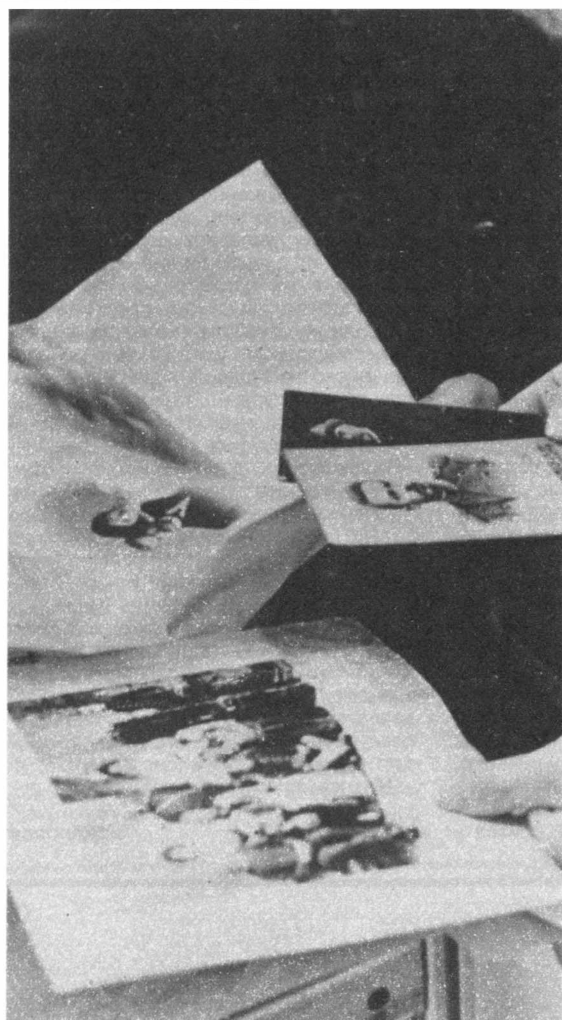
Мы — живы.

Вызвать все общество на дуэль? Невозможно. Остается маскарад.

Что ж, это тоже приятное занятие для приличных людей, среди которых и писатели, и художники, и музыканты. Нет, правда, сильных мира сего. Но такова уж судьба.

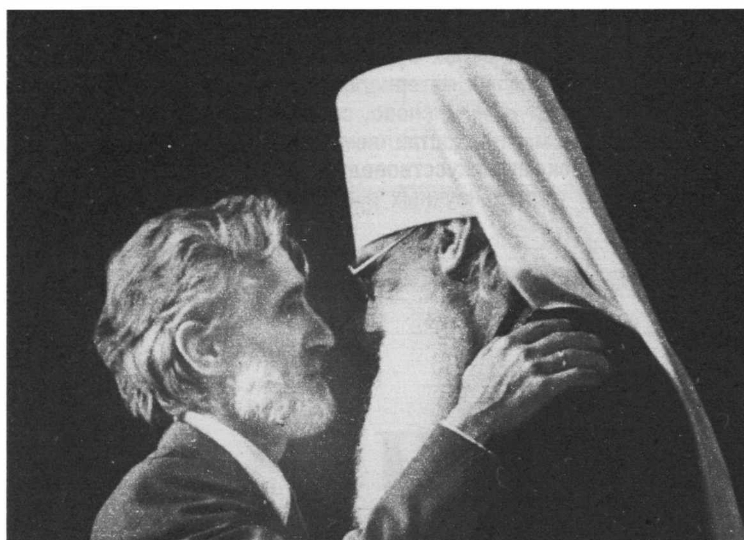
Зато, ежели теперь дождемся Общества потомков российского крепостного крестьянства, среди них будут и дипломаты, и министры, и члены Политбюро.

Сегодня — ты, а завтра — я.

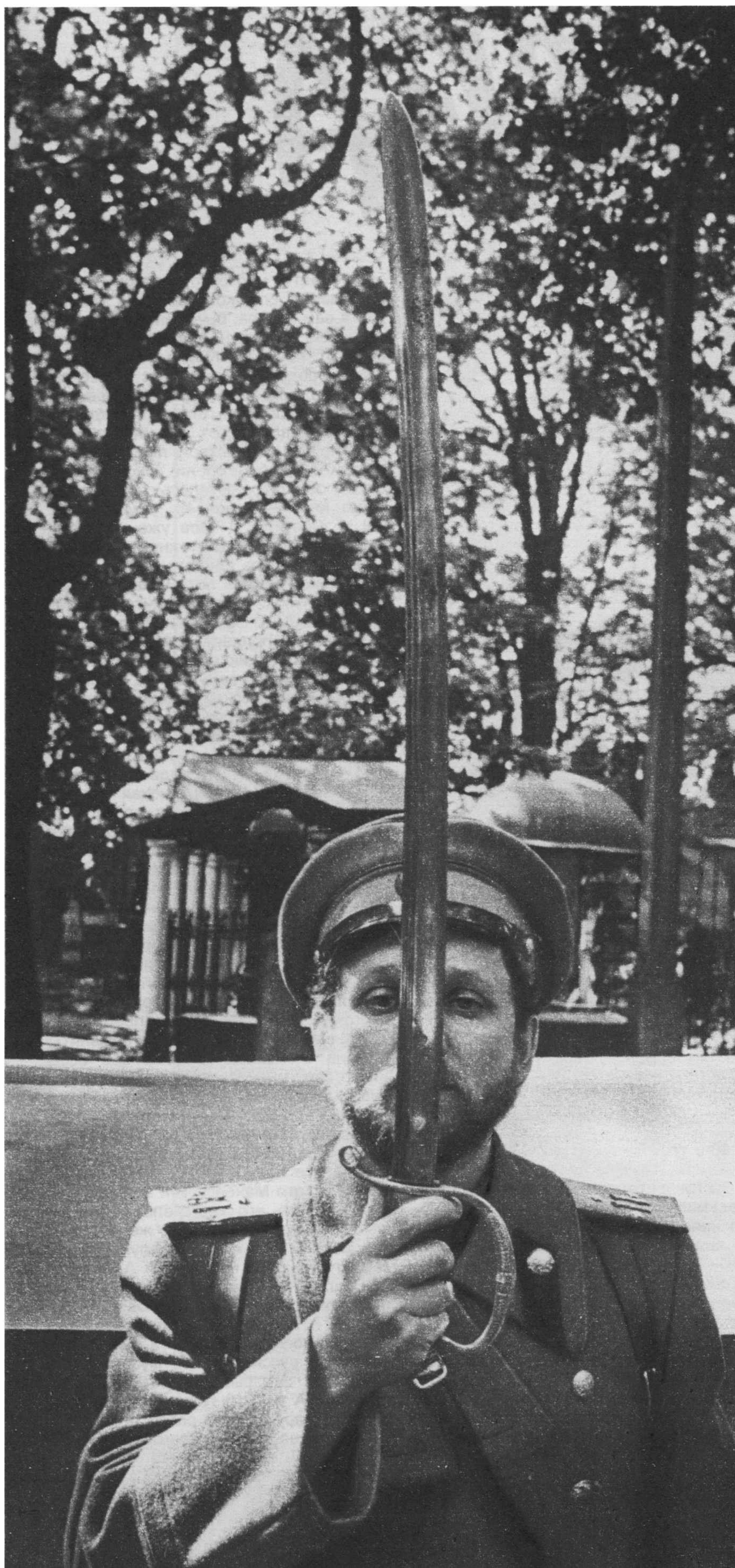




Александр МИНКИН,
Марк ШТЕЙНБОК (фото)







СОЮЗ ПОТОМКОВ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ

7 января 1991 года

Этот выпуск приурочен к дню представления Дворянского собрания.

В светлый день Рождества Христова Совет Дворянского собрания с особой радостью поздравляет всех читателей с великим православным праздником. Пусть он принесет вам душевный мир и исполнение самых благих замыслов и надежд.

Предводитель дворянства кн. А.К.Голицын

Пушкин о дворянстве

В зрелые годы Александр Сергеевич Пушкин был убежденным сторонником конституционного монархического правления. Поэт даже слегка критиковал царя за избыток демократичности

Когда Николай I мужественн





Союз потомков российского дворянства ныне располагается в месте, святом для каждого россиянина. Это Колокольня и Братский корпус Знаменского монастыря неподалеку от Красной площади. Сводчатые монастырские палаты, старинное деревянное крыльцо, кованые двери постоянно напоминают присутствующим о том, что нынешняя их деятельность уходит корнями в тысячелетнюю историю нашего отечества.

Приемная комиссия работает по четвергам. Граф Бобринский раздает анкеты для вступающих. Некоторые читают вопросы с явным изумлением.

Да, анкеты эти отличаются от обычных. Нет, скажем, поразительной графы, появившейся в советское время, вопрошавшей о национальной принадлежности; но есть естественный вопрос о вероисповедании. Само собой разумеется, что должно быть родство по крови с дворянским родом. Но даже при таких широких и весьма либеральных правилах ныне только 300 человек стали действительными членами Союза потомков российского дворянства. Объясняется это тем, что не так-то просто восстановить и собрать необходимые документы, свидетельства.

В настоящее время 900 членов-корреспондентов Собрания заняты поиском документов, утраченных в бурях нашего времени. Разумеется, Собрание всячески содействует им в этом благородном деле.

Многие неожиданно находят своих родственников, именно придя в Собрание. Ведь все дворянские ветви сплываются в единую крону и тесно меж собой переплетены.

Дорогие читатели!
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наши публикации, кто предложил воспользоваться имеющимися в семейных архивах фотографиями и документами. Если вы помните, рубрика «Российские меценаты» началась статьей о С. И. Щукине (№ 45 за 1990 г.). Пользуясь случаем, обращаемся от имени его внука Андре-Марка Делок-Фурко с просьбой ко всем, кому что-либо известно о судьбе любых материалов, оставшихся от С. И. Щукина и его сестры Н. И. Мясново, сообщить нам.
Сегодня мы предоставляем слово смоленскому искусствоведу, автору многих научных публикаций Ларисе Журавлевой.

Наталия СЕМЕНОВА

КНЯГИНЯ ТЕНИШЕВА

Крупнейшую русскую меценатку княгиню Марию Клавдиевну Тенишеву знала не только вся Россия, но и Европа. Доходили слухи об ее сокровищах и до Америки.

М. К. Тенишева (1864—1928) воспитывалась в состоятельной семье, но была незаконнорожденной, что, естественно, наложило определенный отпечаток на ее будущность. Она окончила гимназию М. П. Спешневой, ей был открыт путь к высшему образованию. Однако в шестнадцать лет ее выдали замуж.

Брак оказался неудачным. Вскоре она с маленькой дочерью уезжает в Париж — брать уроки пения в оперной студии Маркези, где знакомится с И. С. Тургеневым, М. Г. Савиной, А. Г. Рубинштейном. Там же, в Париже, берет первые уроки рисунка, некоторое время занимается в школе Штиглица в Петербурге у Н. А. Гоголинского, Я. Ф. Ционглинского, И. Е. Репина, с которым познакомилась в 1891 году.

К этому времени уже пережито много разочарований. Устроиться на профессиональную сцену не удалось, хотя Тенишева участвовала в одном из спектаклей, поставленном К. С. Станиславским, и особый успех имела в музыкальных концертах. Кстати, первые из них состоялись в Смоленске, куда Мария Клавдиевна приехала по приглашению подруги детства Е. К. Святополк-Четвертинской.

И. Е. Репин, слушая пение Марии Клавдиевны с виолончельным сопровождением В. Н. Тенишева, очарован ее голосом и тут же решает написать ее портрет. Так оно и произойдет, но чуть позже, а пока, быть может, неожиданно для окружающих, молодая певица выходит замуж за инженера путей сообщения Вячеслава Николаевича Тенишева и уезжает в Бежицу на Брянский машиностроительный завод, к делам которого имел отношение муж.



М. К. Тенишева. 80-е гг.

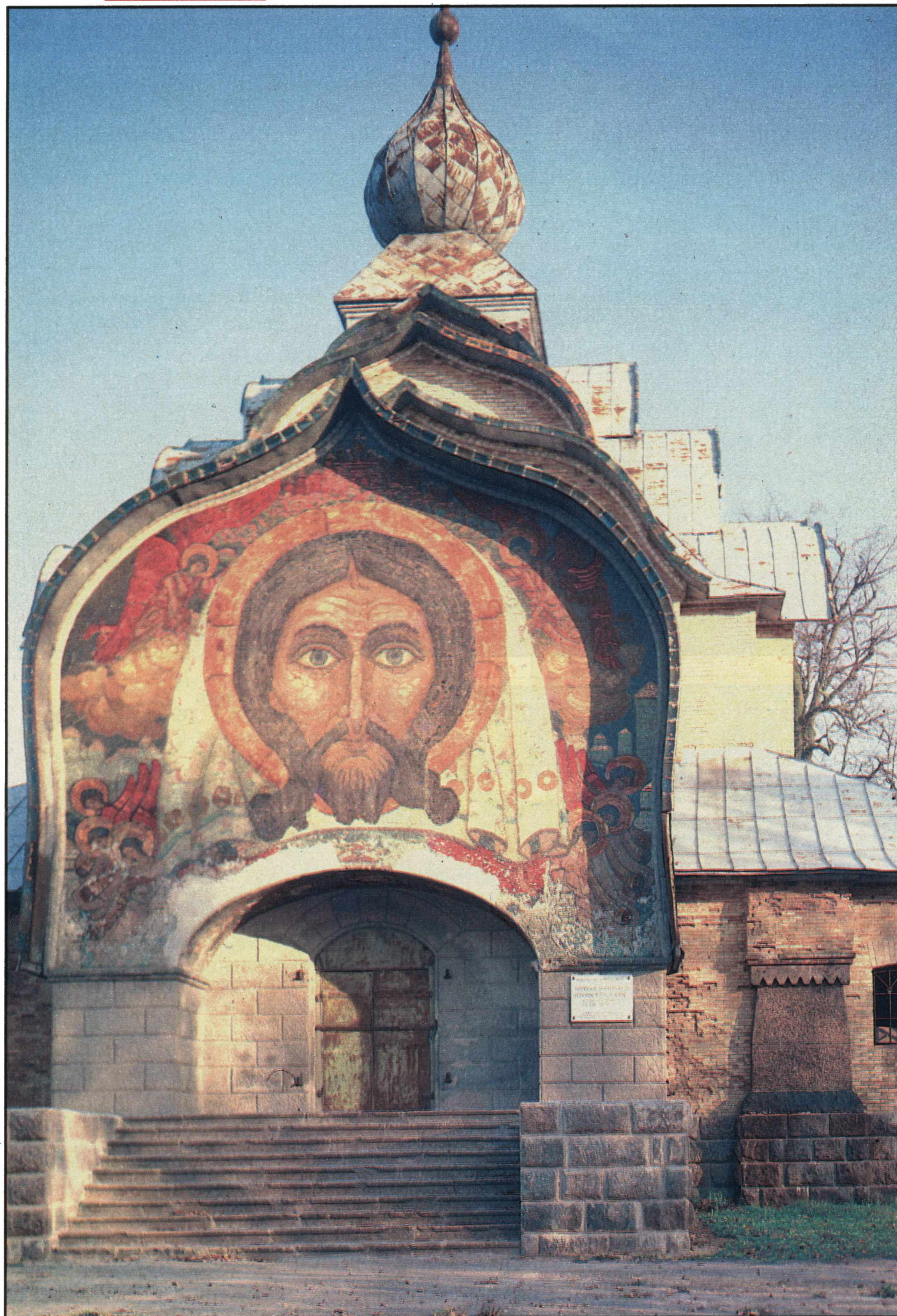
Трудно было найти людей столь разных, как Мария Клавдиевна и Вячеслав Николаевич. Сближала их только музыка. Тенишева не скрывала и того, что ее прельщали средства Вячеслава Николаевича, но здесь она несколько ошибалась. Тенишев, по свидетельству Витте, начал свою службу на железной дороге техником с окладом 50 рублей в месяц, состояние составил себе, неустанно трудясь. Конечно, коммерческая хватка у него была. Рискнул же он вложить 200 тысяч в создание Брянского завода и не просчитался! Но к средствам своим относился бережливо — ведь задумал он немало грандиозных дел: в Петербурге открыл реальное училище — лучшее в России, которое потом окончили О. Мандельштам и В. Набоков; предпринял колоссальное начинание по сбору этнографических материалов; был комиссаром русского отдела на Всемирной выставке в Париже.

Но и Мария Клавдиевна еще в молодости мечтала отдать свои средства «на служение народу». Да где же их взять, муж выделял не так уж много. «...Вы говорите: зачем княгиня не покупает масляной живописи. Но я знаю, что княгиня покупала бы многое, если бы князь ей в этом более сочувствовал,— писала состоявшему на службе у Тенишевой Александру Бенуа сочувственно относившаяся к идеям подруги Е. К. Святополк-Четвертинская.— Она раз купила Khele' gele (вещь все же отличная), и потом ей это ставилось в укор. Да и вообще князь, попросту сказать, не любит всего этого и если ассигнует что-либо, то это потому, что с княгиней иначе нельзя, но верьте, что это делается неохотно, а потому княгине бывает слишком тяжело. Теперь, как я вам писала, было много расходов по музею и проч., и княгиня удерживается от покупок. Кроме того, теперь немало бедствий кругом нас от бескормицы; на днях мы поедем в Орловскую губ., где порядком голодают, надо помогать. Недалеко от нас был пожар, сгорело все имущество у людей, и сами отец и мать оба сгорели, спасая детей. Этих последних осталось 11 человек, и вот княгиня взяла 4-х, других — 4-х мы разместили, а трое уже начинают работать, вот поэтому княгиня ничего не может теперь сделать для Голубкиной». Многие годы потом Мария Клавдиевна глубоко сожалела, что не сумела помочь Анне Семеновне Голубкиной.

Тенишева продает бриллианты, западную коллекцию редких вещей, которую собирала до замужества, и покупает предметы русской старины, акварели. Ее коллекция русской и зарубежной графики была одной из лучших в России — Тенишева хотела показать историю развития этого вида искусства. Е. К. Святополк-Четвертинская уступает ей часть сокровищ от своих родственников Кушелевых-Безбородко и Базилевских, в 1895 году молодой еще Александр Николаевич Бенуа начинает пополнять ее коллекцию. Уже через год ее собранием заинтересовался П. М. Третьяков и специально приехал в Петербург ознакомиться с ним. Было чему удивиться, например, рисункам углем И. С. Щедровского к его позже литографированной серии «Петербургские типы». Он тут же предлагает Тенишевой несколько листов обменять, но она отказывается. Она обо всем имеет свое мнение и часто спорит с Бенуа: «...Вы хорошо сделали, что купили аквар(ель) иностранца, пусть наши посмотрят да поучатся, а то им кажется, что они на недосягаемой высоте искусства и что подобных им нет более на земле... Хотя Маковский и великий мастер и иметь его акв(арель) очень бы хотелось, но зачем сейчас же эксплуатировать и драть небывалую цену». В другом письме предлагает Александру Николаевичу больше внимания обращать на молодых художников.

В 1897 г. Тенишева организовала выставку своего собрания, а через год передала русскую часть музею Александра III. Это было более 500 произведений. А в 1910 году она добавила к этому дару еще 60 работ.

Кстати, во многом благодаря Марии



Н. К. РЕРИХ. СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ.
Мозаика церкви св. Духа во Фленове. 1910—1914.

К. А. КОРОВИН.
ПОРТРЕТ М. К. ТЕНИШЕВОЙ. 1899.



Д. С. СТЕЛЛЕЦКИЙ.
СОКОЛИНАЯ ОХОТА. 1904.



Е. А. ПРАХОВА, В. М. ВАСНЕЦОВ.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ. 1899.



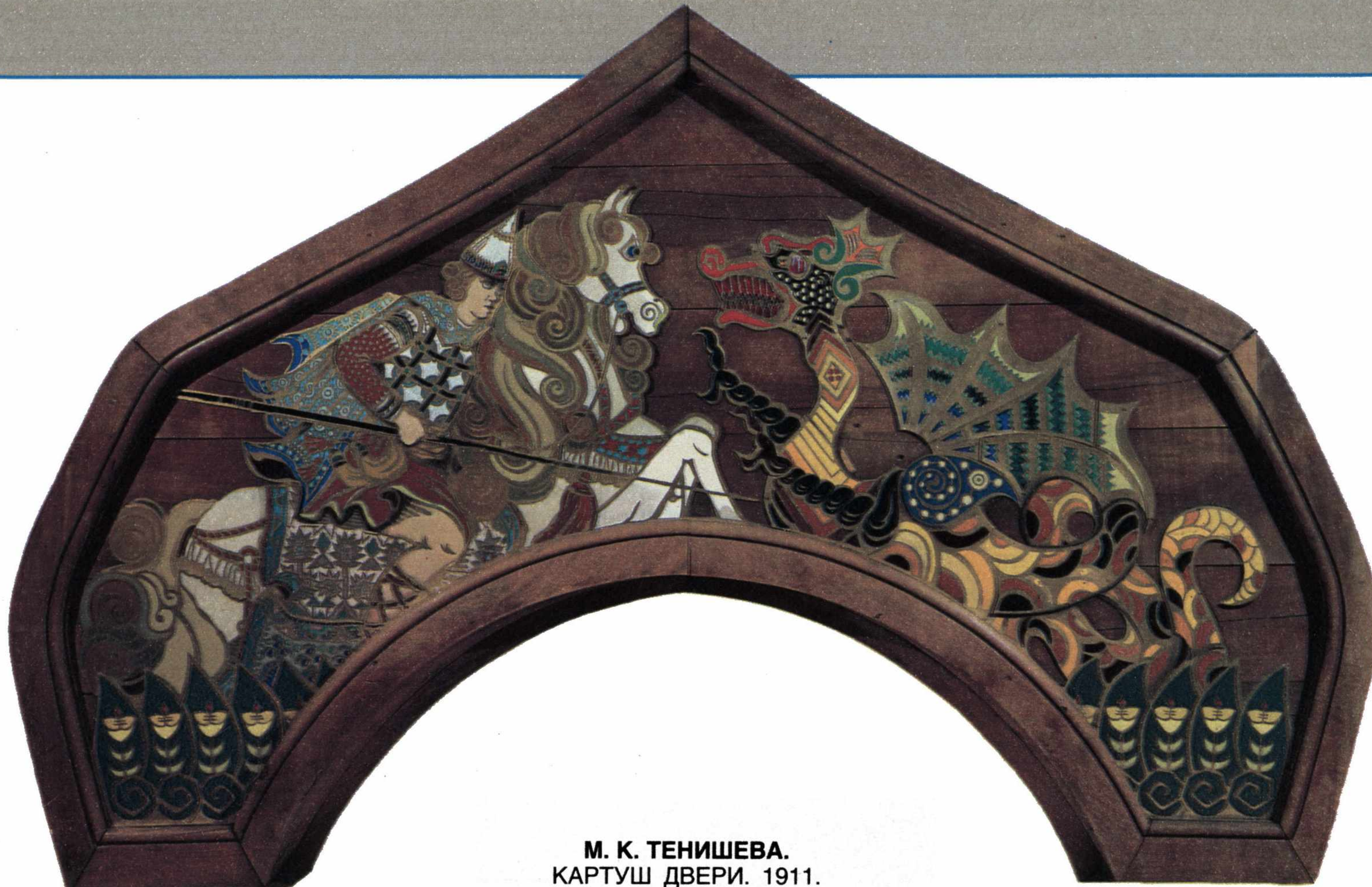




М. А. ВРУБЕЛЬ.
ЭСКИЗ РОСПИСИ БАЛАЛАЙКИ. 1899.

ПОДЗОР. Фрагмент. XIX в.

ПОЛОТЕНЦЕ. Фрагмент. 1900-е.



М. К. ТЕНИШЕВА.
КАРТУШ ДВЕРИ. 1911.

САНКИ. Первая половина XIX в.



Фото В. МОНИНА

Клавдиевне Тенишевой русский зритель и художники смогли познакомиться с современным западным искусством на первой выставке журнала «Мир искусства». Согласившись финансировать журнал, княгиня приняла участие в разработке его идейного направления и устройстве экспозиции выставки. Французские коллекционеры доверили ей картины Дега, Больдини, Уистлера, а портрет актрисы Режан работы Бонара наделал много шума.

Петербургская публика не поняла не только Бонара. Не принимала она и своих талантливых современников — М. Врубеля, например. За поддержку этого художника Мария Клавдиевна удостоилась титула «мать декадентства» и едких карикатур. Но это не изменило ее позиции. Она покупает панно М. Врубеля «Русалки», заказывает расписать несколько балалаек, покупает акварели, приглашает погостить в свои имения Талашкино и Хотылево.

Понять художника, поддержать его морально было не менее важно, чем оказать материальную помощь. 8 октября 1897 года Сергей Павлович Дягилев писал А. Н. Бенуа: «Княгиня в Петербурге, и я с ней в большой дружбе». Да, и Дягилев воспользовался благосклонностью Марии Клавдиевны в начале своей карьеры, ибо Тенишева в то время приобрела большой вес в петербургском художественном мире. Ее дом на Английской набережной был средоточием многих интересов. Там устраивались музыкальные вечера, бывал П. И. Чайковский. Здесь хранились коллекции, здесь же обсуждались первые номера журнала «Мир искусства». Это было место встреч, шумных веселий, которые потом подробно описал А. Н. Бенуа в воспоминаниях.

И каждый жаждал внимания Марии Клавдиевны. Одаренная молодежь устремилась в тенишевскую студию, которая была открыта в этом же доме со стороны Галерной. Студией руководил И. Е. Репин. Сколько талантливых художников вышло из нее: Билибин, Честняков, Чехонин, Добужинский, Серебрякова, Ткаченко, Яковлев и многие другие!

Александр Николаевич Бенуа не только сам в течение трех лет получал материальную поддержку Марии Клавдиевны, но и смог благодаря ей поселиться с семьей в Париже. Из-за границы он писал ей: «Я привык с Вами говорить как с другом и не скрывать от Вас своих душевных движений». Он же рекомендует ей своих друзей К. А. Сомова и Л. С. Бакста, а она отвечает ему, что первая оценила Сомова, доказательство чему — покупка его вещи на акварельной выставке.

Тенишева приобрела почти все ранние произведения Л. С. Бакста. «...Бакст мне написал, что был у Вас и что Вы его озолотили. Очень рад за него и надеюсь теперь, что из него что-нибудь выйдет...» — писал А. Н. Бенуа. Но не только петербургская квартира Тенишевой представляла своеобразный музей. Вскоре и Талашкино под Смоленском становится притягательным для многих художников. Д. С. Стеллецкий, работавший здесь в 1904 году, заметил в письме к Б. М. Кустодиеву: «Здесь настоящий художественный пункт — все интересы направлены к красивому».

А судьба Сергея Васильевича Малютина! Стесненная жизнь в Москве, большая семья... И вот приглашение в Талашкино руководить художественными мастерскими. 28 ноября 1902 года он писал другу Н. Н. Званцеву: «Не найдется ли у Вас (хотя бы к весне) свободного времени приехать ко мне погостить? Домик княгиня выстроила для меня довольно просторный (есть две-три совершенно свободных комнаты) и с порядочной мастерской наверху. Место красивое, высокое, окруженное рощицами, и речка небольшая 1/2 версты от дому. Кстати, посмотрите нашу столярную работу, театр, музей древностей, домики в русском стиле и церковь, да и вообще найдется кое-что посмотреть».

Сколько было создано Малютиным талантливых эскизов всевозможных изделий за трехлетнее пребывание в Талашкине! Полный простор фантазии. Сказочные жар-птицы украсили теремок, театр, посуду и даже туеса. Малютинские живописные фантазии продолжили традиции русских народных мастеров в украшении предметов быта. А всю эту неисчерпаемую красоту художник увидел в талашкинском музее старины, который был самым значительным созданием Тенишевой. В предисловии ее книги «Впечатления моей жизни», изданной в 1933 году, читаем: «Это не только сокровищница, хранящая редкие или красивые вещи, и это вовсе не собрание любителя-мецената — план основательницы был шире и задача глубже. Кн. М. К. Тенишева поставила себе целью сделать свой музей средоточием ученой работы, превратить его в научное учреждение как по теоретической разработке вопросов, связанных с русскими древностями, так и по практической подготовке археологически образованных работников. И музей ее стал единственным у нас провинциальным центром культурной работы общерусского значения».



М. К. Тенишева позирует В. А. Серову.

Каждая коллекция талашкинского собрания, а это тысячи предметов, будь то металл, дерево, ткани, стекло, керамика, отличалась полнотой, обилием, которым нет аналогов. Они позволяли проследить развитие основных художественных центров России. А сколько было в музее редких памятников! Еще в 1901 году журнал «Исторический вестник» писал, что музей в Талашкине мог бы быть украшением столицы.

В 1905 году сокровища перевозят из Талашкина в Смоленск в специально выстроенное музейное здание. В 1907 году коллекции показываются в Лувре. В 1909 году Мария Клавдиевна начинает хлопотать о передаче музея государству. Во-первых, она предлагает его Русскому музею на правах провинциального филиала. В прошении царю она писала: «Национальное самосознание — эта твердыня народного духа — укрепляется созерцанием и изучением памятников минувшей жизни, и мы счастливы тем, что отечество наше еще может ее брать и принести в сохранные хранилища многие предметы, имеющие высокое значение в мировом понимании художества. На огромных землях нашей Родины возникает потребность дать и местному населению лучшие образцы искусства и промышленности, чтобы изучающий мог бы везде найти достойное своим начинаниям пособие».

Но Русский музей отказался от такого дара за неимением средств. Тогда Тенишева передает смоленский музей Московскому археологическому институту. «Музей имеет 10 000 предметов. И вы не найдете ни единого предмета лишнего, ненужного, как в других музеях, где часто среди ценных предметов попадается много хлама. Здесь каждый памятник — ценность, и среди них много памятников, еще неизученных, неисследованных. Этим займется институт и внесет в археологию новый научный вклад. Многие выразили уже желание взяться за изучение различных памятников. Словом, я скажу убежденно, что такой музей может служить лучшим украшением столицы, и не только России, но и Европы».

Казалось бы, столько уже сделано. Но рождаются новые, не менее грандиозные планы. «Делаю что могу и как могу, но часто чувствую всю истину пословицы «бодливой корове бог рог не дает». Многое я могла бы сделать, планов и замыслов у меня хоть отбавляй, но средства имеют границы,— писала Тенишева Николаю Константиновичу Рериху.— При жизни моего мужа было легче — он наживал, а я этого делать не умею... Мы с Вами решили уже, что жизнь состоит вся из света и тени; то, что облито солнцем, что манит своим благородством, восполняется и выдвигается тенями».

В эти годы Мария Клавдиевна готовила монументальное исследование «Эмаль и инкрустация», которое защитила в 1916 г. в виде диссертации в Московском археологическом институте, была награждена золотой медалью и приглашена заведовать кафедрой. Она не только изучала древние эмали, но и собрала коллекцию уникальных памятников (более 600 экземпляров) — древнеегипетское и античное стекло, скифское золото, памятники кельтского искусства. «История Ваша, основанная на такой фактической стороне, будет одною из светлейших историй наших культурных личностей...»,— заметил Н. К. Рерих в одном из писем к Тенишевой.

Так оно и вышло. Эмигрировав в 1918 году во Францию, она оставила все сокровища на родине и зарабатывала на пропитание собственными работами по эмали. Увы, потомки оказались не столь уж благодарны жертвам Тенишевой, в 1911 году безвозмездно отдавшей Смоленску свой музей. Вот уже более 60 лет не показываются ее коллекции старины, а собрание эмалей и инкрустаций лежит в фондах. Неужели мы не понимаем того, что было так ясно самой княгине Марии Клавдиевне,— нельзя зажженную свечу держать под спудом?

...Около десяти портретов Тенишевой выполнил И. Е. Репин, ее писали В. А. Серов, К. А. Коровин, А. Цорн, М. А. Врубель, А. П. Соколов, Я. Ф. Ционглинский, лепили П. П. Трубецкой, Д. С. Стеллецкий — в образе знатной боярыни, и не случайно. Елена Ивановна Рерих, прощаясь в 1925 году с Тенишевой в Париже, сказала: «Настоящая Марфа Посадница».

Лариса ЖУРАВЛЕВА

В Талашкине. 1898—1899 гг. А. В. Прахов, П. П. Трубецкой, Софи Ментер, М. К. Тенишева, Е. К. Святополк-Четвертинская и другие.




Фото Александра СИЗУХИНА

Владимир БУКОВСКИЙ:

«ПОКА У ВАС НЕТ МУЖЕСТВА, КОЛБАСЫ НЕ БУДЕТ»

С бывшим политзаключенным беседует специальный корреспондент «Огонька» Илья МИЛЬШТЕЙН

«Как ни крути, мы воевали отчаянно с этой властью подонков. Мы были горсткой безоружных людей перед лицом мощного государства, располагающего самой чудовищной в мире машиной подавления. И мы выиграли. Она вынуждена была уступить. И даже в тюрьмах мы оказались для нее слишком опасными».

Из книги В. Буковского «И возвращается ветер...»

Апрель 1991 года.

Группа граждан в зале прилета аэропорта Шереметьево-2 с плакатами и цветами. Скандируют: «Бу-ков-ский! Бу-ков-ский!» Наконец из-за ограждения выходит седоволосый человек с мальчишеским лицом «шестидесятника». К нему бросаются. Окружают. Хватают за плечи. Просят автограф. Слышны крики «ура». Шум проносится за ним по всему залу, выплескивается на улицу. Вспышки фотокамер.

Человек останавливается и произносит короткую речь. **«Считается, что политика — это искусство возможного. Но так, наверно, только в нормальных странах. В России политика — это искусство невозможного.**— Он почти кричит, с трудом перекрывая возгласы одобрения.— **До тех пор, пока люди были ослеплены иллюзиями перестройки, надеялись, что они смогут реформировать социализм, мне здесь делать было нечего. А теперь я могу приехать к тем, кто бастует, кто борется. К людям, которые поддерживали коммунистов, мне ехать было нельзя. Если смогу помочь, я буду счастлив».**

Создается впечатление, что это и впрямь Владимир Буковский.

Не может быть...

Мы привыкли, конечно, к возвращению «бывших» — политзеков, писателей, художников. Но тут случай особый. Человек, с трудом продирающийся сквозь толпу к белой «Волге» с казенным номером, еще вчера обвинялся в намерениях бороться с советской властью «методами террора и физического уничтожения людей». Отсидел в психушках, тюрьмах и лагерях двенадцать лет. За 6 лет до окончания очередного срока был внезапно обменен на генерального секретаря чилийской компартии, став героем фольклора:

...Обменяли Корвалана
На простого хулигана.
Где б найти такую б....,
Чтоб на Брежнева сменять?

Прошло четырнадцать лет. Приговоры по его делам Верховным судом не отменены. Вздорные обвинения не опровергнуты. Советское гражданство ему не возвращено. А он приезжает в Москву по официальному приглашению ВС РСФСР и личному — Бориса Ельцина.

Горбачев был в Японии. Павлов — в Англии, Ельцин — во Франции. Британский подданный Буковский в Москве. Странное время.

С Владимиром Константиновичем Буковским мы встретились на следующий день после его приезда.

— Как вас встретила родина?

— Смешно было. Авиалиния перепутала на час время прибытия. У нас летнее время на час сдвинулось, а у вас в этом году не изменилось. Пограничник, едва увидев мой паспорт, сразу стал кудато звонить. Попросил у меня билет. Я слушал краем уха. «Нет,— говорит в трубку,— билет тот же. Вылетел из Лондона». Я ваньку валяю: «Есть проблемы?» Нет, пропустил.

— Шмонали?

— Не-а. Совсем. Что меня поразило. Таможенник предложил заполнить декларацию и вообще ушел куда-то. Потом вернулся. «Что у вас в вещах?» — «Личные вещи».— «Идите». Я с ним, правда, по-английски разговаривал. Зачем объяснять, что я русский. И он со мной на ломаном английском говорил. А я уже толпу видел у выхода.

— Как вам эта встреча?

— Мне было неловко. Кричать стали... Какой-то шалый народ.

— С визой не было затруднений?

— Были. Я хотел приехать на 18 дней. Когда подошли сроки, понял, что уже и ответа не будет. Тогда связался со своим правительством, английским. Надо отдать им должное, они приняли это очень близко к сердцу. Вызвали советского посла, сказали: давайте ответ, мотивированный. По нынешним временам, когда западный дядя требует, советские отвечают «яволь». Вот я и приехал... на пять дней.

— Вы покидали страну очередей, тотального угнетения граждан и политлагерей для инакомыслящих. Вы вернулись в страну безбрежной свободы, локальных гражданских войн и очередей. Обращаюсь к вам с вопросом, которым здесь встречают каждого эмигранта: что делать?

— Бастовать. Вы этот паразитизм бросайте. Что меня поражает, это ваша готовность сдохнуть пассивно. Я иногда сомневаюсь: может, я не русский, может, какой-то другой. Мне это дико. Вы что, не понимаете: к зиме у вас будет голод. Горбачев добровольно не уйдет. КГБ добровольно не уйдет. Значит, они будут стрелять. Как же так: бастуют шахтеры, не за себя — за общее дело, а вы ходите на работу...

— Если я завтра не выйду на службу и так же поступят мои коллеги — просто не выйдет «Огонек» и сограждане не услышат ваших призывов.

— Речь не о журналистике. Я говорю о производстве. Я лагерный человек. Если голодает один зек, голодает весь лагерь. Должна забастовать страна. Люди должны встать и сказать коммунистам: уходите!

— И что произойдет в этом случае?

— А что произойдет? У них много танков. Когда они обращены на Запад, это страшно. Но Россия большая. Я шутки ради посчитал, что на один танк здесь приходится 327 км ^{2}. Вот и представьте себе танк, застрявший где-нибудь в тюменских болотах. Много он сделает?

— У них не только танки.

— Ну, как хотите, как хотите. Пока у вас нет мужества, колбасы не будет.

— Простите, за колбасу я и не пойду против танка. Скорее людей может подвигнуть к акции гражданского неповиновения тревога за себя, за близких, за детей. По-моему, по этой же причине люди сегодня остерегаются резких решений.

— Понимаю. Но я считаю, что это неверно. Нельзя производить в мир детей, если вы в этом мире не создали им человеческих условий для жизни. Это безответственно. Вот если останется эта власть, ваши дети будут воевать где-нибудь в Польше или Молдавии. Будут подавлять мятеж азербайджанцев. Вам это надо?

— Существует мнение, что самое важное сегодня — не допустить всеобщей резни. А что касается власти... Представьте, что коммунисты наконец уходят. Кто придет им на смену? Кто будет лидером демократической власти?

— Вы мыслите категориями XIX века. Поймите, нынешняя политика устроена не на лидерстве, а на командной работе. Команда работает на лидера, лидер — на команду. Нужно срочно организовывать демократические структуры. Ваши депутаты сидят в своем российском парламенте и теряют время. Неужели не понимают, что за ними ничего нет, никакой власти? Отними у них завтра микрофон, и их нету! Надо объединяться. Назовите это хоть фондом, хоть партией... Понимаете, страна рухнет, и никого нет. Тех же чекистов от расправы не спасешь.

— Вот как...

— А какой же нормальный человек хочет видеть суд Линча? Если у вас государство, то должен быть порядок. Между прочим, пока гебисты чувствуют, что им угрожает расправа, они будут яростно сопротивляться. Им тоже надо гарантировать жизнь в правовом государстве. У вас нет команды, а вы ищете лидера.

— Лидеры у нас есть. У нас есть много лидеров...

— Никогда не забуду. Сидим мы, в Вашингтоне столкнувшись, с Богомоловым, Селюниным, Тихоновым, завтракаем, ведем беседу. О будущем России. Они гадают, мучаются: «Слушайте, а кто же будет лидером? Собчак?» Селюнин чуть пригорюнился: «А по-моему, лидером должен быть Травкин...» А я тогда не знал ничего о Травкине. Фамилия очень смешная, да? Так представил себе: больша-ая Россия, безбрежная, а лидер — Травкин... Я им говорю: «Мужики, а чего мы тут сидим? Поехали в Норвегию, найдем себе варяга, привезем. Страна наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приедем к варягам, попросим, авось дадут нам Рюрика. Пусть володеет».

— Ельцин не похож на варяга?

— Ельцин честный человек. Искренний. У него действительно душа болит за страну. Это качество сейчас редкое у вас. Большинство вроде героя Высоцкого: «Зазеваешься, он хвать — и тикать». Словом, политически я поддерживаю Ельцина, его заявления этого года. Потому и счел для себя возможным приехать по приглашению Ельцина.

— Вы связываете какие-то надежды с грядущим избранием российского президента?

— Это ничего не даст. К сожалению. Когда увижу Бориса Николаевича, я ему сам скажу об этом. Сначала надо взять власть. Мне говорят про «народный мандат». Ну и что? У Ельцина и сейчас народный мандат, кто этого не знает? Он же не думает, что в КГБ решат: раз у него народный мандат, то им надо сдаваться. Нет. Конфронтации не избежать. Единственное, о чем следует думать: как избежать крови. Поэтому я тысячу раз готов повторять: нужна всеобщая забастовка. Это единственный шанс избежать крови и голода. Но я вас уговаривать не собираюсь. У меня в Кембридже все есть — и колбаса, и сигареты, и мыло. И дом большой. И сад большой.

— Вам хочется мстить тем, кто вас преследовал?

— Нет. Кому тут мстить, это же система. Люди, потерявшие волю и душу. Так уж получилось, что лучше всего в этой стране я знаю гебистов, потому что больше всего с ними имел дело. Они такие же люди, как и все остальные. Откровенных садистов среди них я почти не встречал. Чаще всего просто равнодушные: ему приказали, он сделал.

Понимаете, эта власть ссучила всю страну. Так что все равны — что надзиратель, что гебист, что работяга, который колючую проволоку делал на заводе, что дипломированные граждане. Какая мне разница? Между прочим, по этой причине я готов встречаться и сотрудничать с любым, кто этого пожелает. Если ко мне сегодня придет надзиратель, который меня в тюрьме держал, я и ему протяну руку. А что делать? Вместе выживать надо. Другой страны нет.

— Вам снится тюрьма?

— Раньше снилась. По-всякому. Побег очень часто снился. Почему-то. На волю я никогда не бежал.

— Успешный побег?

— Когда как. Но у меня нет склонности к побегу. Знаете, в тюремной системе много правды. Там человека весьма точно квалифицируют. Если тебе ставят красную полосу на «дело» — ты склонен к побегу. У меня была синяя: «склонен к организации бунта». Поэтому меня всегда конвоировали два офицера. Держали под руки и шипели: «Не открывай рот!» Считалось, что если я открою рот, то все взбунтуются. Правда, я организовывал забастовки в лагерях...

— После всего, о чем мы говорили, как-то даже нелепо спрашивать о вашем отношении к коммунизму. Мне интересно другое: что такое, по-вашему, антикоммунизм?

— Это здоровая реакция, безусловный рефлекс, возникающий у нормального человека, когда ему показывают коммунизм. О том, что такое коммунизм и ему подобные «измы», я знал еще в 15 лет, в конце 50-х, и, поверьте, я не был самым умным. Все это знали. За исключением нескольких стариков, которые искренне в это верили, тянули срок в сталинских лагерях и нередко потом шли в диссидентское движение. Среди них были мои друзья: Писарев, Костерин... Таким был генерал Григоренко. Но и он к концу жизни прозрел.

— Что ж, по-вашему, и Горбачев в «социалистический выбор» не верит?

— Нет, конечно. Последний правитель, который у нас верил в коммунизм, был Хрущев. После него уже никто. Конечно, мыслит Горбачев еще по-марксистски, поскольку его так научили. Но по-настоящему заботится лишь о сохранении своей власти. Кто он будет, если вы завтра распустите империю? Никогда не избиравшийся президент несуществующей страны. Кто будут он и его элита, если завтра наступит капитализм? Безработные. Они это отлично понимают. Добровольно не уйдут.

— Зачем же было затевать перестройку?

— Деваться было некуда. Страна разваливалась. Для того андроповское КГБ и разработало теорию и практику перестройки.

— Откуда такие сведения?

— Абсолютно точные данные. В 70-е годы на Западе вышла книжка Голицына, чекиста-перебежчика. В ней рассказывалось о том, как упадет Берлинская стена, как позволят объединиться Германии, как в Польше будет организован «круглый стол» — словом, весь внешнеполитический сценарий перестройки.

— Чем кончается книжка?

— «Ленинским» нэпом и попыткой возродить социализм. Конечно, они просчитались. Все тираны-реформаторы совершают одну и ту же ошибку: переоценивают силу своей власти и недооценивают народную ненависть.

Думаете, Горбачев мечтал о независимой Чехо-Словакии во главе с политзеком Вацлавом Гавелом? Нет, он хотел привести к власти своего однокашника Млынаржа. Они устроили переворот. Сейчас это все вскрылось. Я смотрел в Англии документальный фильм о «нежной» революции. Тот самый студент, которого якобы убили, после чего вспыхнули студенческие волнения, оказался молодым сотрудником чешской ГБ. Он у нас выступал, рассказывал, как ему велено было «умереть», как новость об этом должна была «просочиться» в печать, после чего толпы выходили на улицы, а советские запрещали Якешу использовать войска... Задумано было неплохо. Но они просчитались: приехал Млынарж, выступил перед толпой, стал рассказывать про социализм с человеческим лицом, а его освистали. Последний горбачевец, который еще держится в Европе,— румын Илиеску...

— Откуда же такие страшные просчеты у столь серьезной организации?

— Они плохо знают свой народ и плохо изучают историю. Они решили: раз Ленин ввел нэп, то и мы можем. Но не учли того, что, во-первых, Ленин вводил нэп в государстве, где людей еще не разучили работать; во-вторых, партия была еще молодая и голодная, цинизма и безверия такого не было, как теперь.

— Вы совершенно отказываете Горбачеву в желании искренне послужить Отечеству, пусть иногда и неумело? Признаюсь, мне он представляется фигурой более трагической, нежели зловещей.

— Я сужу о политиках по их делам. Знаете, Брежнев был человек совсем не злой. Сентиментальный. Слушал военные песни и плакал. Добрый был старик. Но он ввел войска в Афганистан и Прагу, насаждал революцию во всем мире, гноил нас по лагерям... Его личные качества при этом не имели никакого значения. Сам по себе генеральный секретарь ЦК КПСС может быть добр, зол, пребывать в добром здравии или в маразме, ненавидеть свой народ или втайне радеть о его благе, его именем могут подписывать пухлые тома сочинений или зловредные указы, но он в данном качестве не человек, он функция. Горбачева выбрали в «отцы» перестройки, потому что он казался подходящим исполнителем. Умел хорошо держаться, немножко актерствовал.

— Когда, по вашему мнению, наверху поняли, что перестройка провалилась?

— Году в 88-м. Горбачев тогда заявил на Западе, что, дескать, никто не мог ожидать такого взрыва национальных чувств.

— Для вас это тоже явилось неожиданностью?

— Ка-кой неожиданностью?! Мы сидели с националами в тюрьмах — с украинцами, с прибалтами... Да и как можно было не ожидать взрыва в многонациональном государстве, где все до единой нации были насильственно приведены к «зрелому социализму»? Если не ошибаюсь, «Огонек» печатал «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Андрея Амальрика. Перечитайте. Он предугадал почти все. Он утверждал, что любое сверхнапряжение — и система начнет сыпаться. Так и случилось.

— То есть экономический кризис у нас...

— В этой системе невозможен чисто экономический кризис! «Этого не можно быть»,— как говорил Ма Хун, китаец, который сидел с нами во владимирской тюрьме. Это идеологическая система. Значит, кризис идеологии. Кризис партии.

— На Западе, насколько мне известно, еще сохраняется вера в Горбачева.

— Да, «горбомания» пока распространена. На Западе до сих пор марксистов больше, чем в России. Два-три раза в год я разъезжаю с лекциями по американским университетам. Удивительная вещь! Студенты на моей стороне, профессора против меня. Профессора ведь «шестидесятники», они все левые. А студент сейчас пошел нормальный, насчет марксизма не обольщается.

— Не обольщаясь «насчет марксизма», я все же не могу не сочувствовать Горбачеву. Тут чисто этическая сторона: трудно проклинать человека, который (пусть даже и не по своей воле) дал тебе эту возможность — проклинать.

— Вас интересует личность Президента? Повторяю: в данной системе это не имеет практически никакого значения. Впрочем, в небольшой степени его характер влияет на развитие событий в стране. Он совершит жестокость — и отшатнется. Он никак не решается ввести военное положение в стране. В Баку уж как коммунисты старались, как нагнетали антимусульманскую истерию, и танки ввели, и народ призвали к мобилизации, но... Вышли русские бабы на улицы, сказали: «Мы не пустим своих детей!» Я его понимаю, Горбачева. В стране, где к власти, пусть ненадолго, придут военные, ему нет места. Ваши генералы его сместят и своего поставят.

— Владимир Константинович, вы сейчас можете себя представить советским гражданином? Допустим, на Корвалана обменяли бы кого-нибудь еще...

— Я бы не дожил. Я ведь сидел уже четвертый раз и прекрасно знал, что больше года на этой проклятой воле мне побыть не удастся. После тюрьмы меня ждал лагерь, затем — ссылка. Если бы сразу не намотали нового срока, то вышел бы я из ссылки в 83-м году. Думаю, я бы умер в тюрьме. Примерно в то же время, что и Толя Марченко.

— Вы свободный человек, живущий в свободном обществе. Нейрофизиолог, автор научных книг и статей... Вас не охватывает иногда ужас при мысли о том, что чуда могло и не свершиться?

— О том, что меня «меняют», я узнал только в самолете. Конечно, это был подарок судьбы. Теперь... теперь уже мне кажется, что иначе и быть не могло.

Было смешно очень, когда меня везли в самолете. Вокруг сидели чекисты, загадочные, как сфинксы. Молчали. Но когда стали подлетать к Швейцарии, загадочность с них как рукой сняло. Они вдруг почувствовали, что я на их глазах превращаюсь в иностранца. Вот этот Буковский, негодяй в наручниках,— он будет жить в «Березке». А иностранец — он же вроде начальника, они со мной заговаривать начали! А потом прилетели... Оказалось, что швейцарцы — народ недоверчивый, раз обмен — они аэродром танками оцепили. Армия вышла. Чекист глянул в окно и присвистнул: «Блин, сходили в аэропорт!» Он, бедняга, небось мечтал жене колготки купить, все ведь люди. А его тут же в зону обратно. Я на них взглянул: «Теперь вы в тюрьму, а я на волю...»

Владимир Буковский вернулся в Кембридж. Друзья утверждают, что внутренне он мало изменился за прошедшие годы. Один из первых, самых известных и ярких деятелей диссидентского движения, он и в благополучном туманном далеке остался таким же непримиримым, жестким, безапелляционным, яростным в суждениях своих, каким был здесь, в тюрьме и на воле.

Сила Буковского — в последовательности и прочности отстаиваемых им убеждений. Но еще более в том, что за эти убеждения он щедро заплатил лучшими годами своей жизни. Дело не в словах, а в том, что за словом — тщеславное стремление явить миру свою, дозволенную властями храбрость или слезами и кровью выстраданную мысль.

С мыслями Буковского можно соглашаться, их можно отвергать, но ими трудно пренебречь.

Резкость и даже грубость иных формулировок Буковского соответствуют специфическому опыту, накопленному этим человеком в условиях весьма специфических. В течение многих лет оторванный от «нашей действительности», за колючей проволокой тюрем и лагерей, потом за «железным занавесом», он разглядел в этой действительности нечто такое, что не могли или не захотели разглядеть другие.

Антикоммунизм Буковского — чувство отнюдь не классовое. Его отношение к нашим реформаторам — не от зависти и не от злобы. Я поверил собеседнику, когда он сказал, что не собирается никому мстить. Хотя, конечно, понося теоретические основы единственно верной теории, он ни на минуту не забывает об ее практическом воплощении.

От этого ему никуда не деться — испытал на собственной шкуре. Личный опыт в корне отличается от книжного.

Поэтому для Буковского коммунизм — жестокая и страшная реальность, которую он воспринимает как потенциальную угрозу всему человечеству. Он пытается противостоять этой угрозе. Приезд в Москву для него — важный этап в этом противостоянии. Так что я не очень верю Владимиру Константиновичу, когда он заявляет, что «уговаривать нас не собирается», поскольку вся его жизнь — там: дом большой, сад большой... Вся его жизнь — здесь. Он болен этой несчастной страной.

А прав ли он в своих убеждениях или не прав — совсем другой вопрос.

БЕСЫ В ПАРИЖЕ

Дерек КАРТУН
РОМАН

Это была чистая случайность — или, как принято говорить, Его величество Случай, что в тот же воскресный полдень в Булонском лесу оказались и другие сотрудники ОТО,— правда, совсем в другой его части, у Порт де Мадрид, далеко от того места, где устроил себе пикник Альфред Баум. Почти вся команда, что вела наблюдение раньше, собралась здесь снова, потея в машинах, и нервы у всех были напряжены.

— Все эти вылазки ни к чему! Разве что опять старикашку застукаем, у которого при виде голых сисек с дальней дистанции кое-что встает.— Леон был расстроен.— Пусть бы этим полиция нравов занялась, это по их части.

Машина стояла в тени уже несколько часов, раньше шести им отсюда не двинуться. Оставался еще час, и трудно было предположить, будто КГБ предпримет что-нибудь за это время.

— Может, если и на этот раз ничего не обнаружится, начальство свою дурацкую затею похерит? — высказал надежду Люк.

— Как же! Они, что ли, сами тут маются?

По авеню Махатма Ганди в обоих направлениях густо шли машины. Эта улица представляет собой длинную сторону треугольника, образованного бульварами Морис Барре и Комендант Шарко. Из машины Леона, стоявшей на перекрестке, удобно было наблюдать оба потока — и тот, что приближался к Порт де Мадрид, и тот, что двигался оттуда.

Радио неожиданно подало признаки жизни.

— Ящерица — Лисе. Машина советского посольства проследовала к северу, в направлении Нейи. Видим его ясно — это наш приятель Галевич. С ним еще один русский.

— Господи! — ахнул Леон.— Что бы ему на Монмартр поехать, в заведение, где голых баб показывают? Всем бы легче было...

Он тронул машину с места.

— Бобр, я Лиса. Русская машина движется в Порт де Нейи. Ты и Ящерица, сядьте ей на хвост. Мы пока остаемся здесь, смотрим, как он себя поведет. Сегодня их двое — может, за делом каким едут, а не просто удовольствие получать.

Но до площади Порт де Нейи русский так и не доехал. Он еще до перекрестка резко свернул в узкий проезд. Ящерица из своей машины, проскочившей этот поворот, увидел только зад посольского автомобиля и сообщил Лисе по радио, что тот, похоже, замедлил ход.

— Ящерица и Бобр, подъезжайте как можно ближе и выходите. Идите к ним, только поосторожнее, ради Бога, не спугните. Я сейчас подъеду.

Через несколько минут шестеро пеших оперативников врассыпную направились к тому месту, где остановилась машина. Галевич и его спутник не показывались. Леон, потный и взволнованный, но уже вполне собранный, посмотрел на часы. До пяти оставалось несколько минут.

— Если они тут с кем-то договорились, то наверняка на пять,— сказал он Люку.— Вот увидишь, ровно в пять вылезут из машины.

Они следили за русскими из-за деревьев, чтобы из той машины их никак нельзя было заметить.

Но события развивались не так, как предсказал Леон. Ровно в пять спутник Галевича вышел из машины один и пошел назад, поглядывая по сторонам и всем своим видом изображая беспечность.

— Галевича прикрывает,— сообразил Леон.— Это становится интересным. Убедится, что все чисто, и подаст сигнал. И тут уж наш любитель сладенького выползет на свет Божий собственной персоной.

На сей раз он оказался прав. Тот, кто вышел из машины, видимо, решил, что все в порядке. Он нагнулся, будто завязывал шнурок, и тут же из машины показался Галевич, который быстро зашагал назад, к перекрестку. А со стороны Порт де Нейи к тому же перекрестку подъехал голубой «рено» — Галевич явно направлялся к нему.

— Следите за той машиной! — Леон с трудом сдерживал волнение, говоря в микрофон.— Если он сядет в нее, все бегите туда! Сразу же! Все! Бизон, если сможешь его догнать, останови, прижми к обочине и вызывай нас. Теперь действуйте, больше распоряжений не будет.

Машина под кодовым названием «Бизон» как раз проезжала по бульвару Комендант Шарко, когда раздался приказ Леона. Водитель нажал на газ, выехал, развернувшись, на противоположную сторону улицы и, стремглав проскочив сверкающую огнями площадь Порт де Нейи, помчался по шоссе Нейи.

— Да вот же он! — воскликнул его напарник.

Русский преспокойно сидел в голубом «рено» и беседовал с водителем. Второй тоже был здесь — расхаживал туда-сюда вдоль шоссе, караулил. Прежде чем незадачливый страж успел сообразить, что к чему, машина отдела территориальной охраны промчалась мимо него и с визгом затормозила рядом с «рено». Выскочившие из нее оперативники бросились к передним дверцам и прижали их снаружи, чтобы пассажиры не могли выйти, а с трех сторон уже неслись на подмогу их коллеги. Русский — тот, что сторожил,— бросился бежать по шоссе в сторону Порт де Нейи.

— Да пусть его! — на бегу крикнул Леон; он был уже у машины русских.

Дальше все шло по заведенному порядку. Леон предъявил свое удостоверение и потребовал документы у сидящих в машине. Забрал два одинаковых портфеля, обнаруженных у них. Галевича, невзирая на его протесты и заявления, что он обладает дипломатической неприкосновенностью, вежливо, но твердо препроводили к одной из машин и вместе с водителем увезли на улицу Соссэ, а оставшиеся тщательно обыскали «рено» и только после этого отправились туда же.

Недовольство и усталость позабылись, настроение у всех было приподнятое. Похоже, добыча попалась крупная. Участники операции обменивались по радио шутками. Леон всех поздравил и пригласил попозже отметить это дело — отлично поработали, имеем право.

В «рено» в отделении для перчаток были обнаружены документы владельца: Робер Пишу, дом 17 по улице Демур; занятие: государственный служащий.

Леон, ехавший в передней машине, позволил себе заглянуть в конфискованные портфели. В одном лежала вшестеро сложенная газета, в другом — магнитофонная кассета в целлофановом пакетике.

Со службы позвонили в четверть шестого. Альфред Баум выслушал дежурного, покряхтел, повздыхал и наконец ответил ворчливо:

— Пусть они там наших разговоров не подслушивают, держите их подальше от телефона. Больше никому не звоните. Постараюсь успеть на поезд пять тридцать пять. Леон пусть меня ждет. Отправь за мной машину на вокзал Монпарнас.

Повесив трубку, он снова вздохнул.

— Мне очень жаль, честное слово,— сказал он Эстелле.— Собирались в гости, а меня вот в контору вызывают. Ты уж там объясни как-нибудь...

Он улыбнулся и выжидательно посмотрел на нее. Жена в ответ тоже улыбнулась, и он почувствовал облегчение.

— Спасибо,— сказал он.— Может, тебе лучше было за зеленщика выйти?

— Вряд ли. Возвращайся побыстрее.

— Постараюсь.

Записанную сегодня пленку придется прослушать в другой раз — досадно, он как раз настроился, пока свежи в памяти подробности прогулки. Но Галевич — это Галевич, не какая-то там рыбешка, а настоящая, хороших размеров барракуда. Ради него стоит отвлечься от всех прочих.

Спеша к поезду, он все размышлял над тем, что произошло в лесу, и как-то даже забыл о деле, ради которого его вызвали. Еще в машине, продиравшейся сквозь толпу других машин по жарким и шумным парижским улицам, он то так, то этак катал в уме подробности подсмотренного и подслушанного свидания и переключился, только когда увидел Леона,— тот, раскрасневшийся и гордый, пересказал ему события дня и разложил на столе вещественные доказательства. Среди них было и удостоверение личности — имя владельца Бауму было знакомо.

— Вот это да! — сказал он.— Этого ухватить будет ох как трудно!

— Почему это?

— Не важно. Продолжай.

Дослушав рассказ, он похвалил Леона довольно официальным тоном, что того слегка обидело, велел принести магнитофон и заперся в своем кабинете. Вслушиваясь в голоса, записанные на кассете, он тотчас узнал характерный провинциальный выговор Амбруаза Пеллерена. Голос одного из американцев тоже показался знакомым — услышав обращение



Продолжение. См. «Огонек» №№ 11—17.

«Рольф», он понял, что не ошибся, а обращение «господин адмирал» подсказало, кто был третий собеседник. Почти час крутилась пленка, а когда она кончилась, Баум посидел какое-то время, уставившись на магнитофон, будто надеясь еще что-то оттуда добыть. Потом открыл дверь и послал за Галевичем.

Явившись, сей господин немедленно разразился угрозами, как это принято у дипломатов, попавших в щекотливую ситуацию, что случается, кстати, не столь уж редко. Никто не смеет его задерживать, заявил он Бауму и процитировал соответствующую статью международной конвенции, на что Баум ответил, что и без него это знает. Выслушав требование Галевича немедленно его отпустить и задав несколько вопросов, на которые тот отвечать отказался, Баум отдал распоряжения, и дипломата вывели из здания на улице Соссэ и даже проводили до площади Бово, где уже давно тихонько стояла машина советского посольства. Галевич устремился к ней, сел и немедленно укатил.

Положение Робера Пишу было куда хуже. Бледный и встревоженный, он тоже отказывался вступать в беседу и требовал, чтобы ему дали возможность позвонить адвокату, в чем ему отказали. После пятнадцатиминутных препирательств Баум велел увести его и воспользовался телефоном сам. Жорж Вавр молча выслушал сообщение, а затем и то, что он, Баум, тщательно подбирая слова, предложил в качестве плана дальнейших действий,— идея возникла у него только что, во время разговора с Пишу.

— Опять нечто чрезвычайно сложное и опасное, Альфред?

— Допустим,— сказал Баум.— Но если действовать обычным путем, то у нас на руках окажется заурядное дело о шпионаже, то бишь скандал, нудные дебаты со всякими там должностными лицами и Бог весть еще какие неприятности. А то и вовсе останемся ни с чем: заинтересованные лица тут же разнюхают, что у нас только и есть что запись весьма сомнительной беседы министра обороны с парочкой американцев. Отнюдь не то, что нашему достопочтенному президенту хотелось бы прочесть в утренних газетах. А если мой план пройдет, то получим целую сеть, где все взаимосвязано. Очень элегантно получится, не боюсь этого слова.

— Ладно, черт с тобой, делай как знаешь. Только держи меня в курсе.

Баум снова вызвал Пишу — тот будто еще больше похудел за это время.

— Господин Пишу,— начал он дружелюбно.— Вы, надеюсь, понимаете, что влипли в неприятную историю. Очень неприятную. Но, возможно, я помогу вам выбраться. Не то чтобы я так уж хотел, но есть у меня возможность. Все зависит от вас.

Пишу, который успел обдумать ситуацию и пришел к самому неутешительному выводу, изобразил на лице некоторое удивление, как бы говоря: «Вот как?! Интересно...»

— Я прослушал кассету, которую вы пытались передать русским...

— Ничего и никому я не передавал!

— Да не тратьте вы время на бессмысленное отрицание! Запись я прослушал. Это дельце вам обойдется лет в десять, если учесть, при каких обстоятельствах кассета попала к нам.

— Разве что вы или кто-нибудь повыше вас рангом сумеете придать ей больше значения, чем на самом деле...

— Так и знал, что вы это скажете,— отозвался Баум, как бы находя подобный аргумент убедительным.— Но оперативники, которые сейчас профессионально обыскивают вашу квартиру, могут найти такие доказательства вашей предосудительной деятельности, что кассета нам и не понадобится.

На щеках у Пишу заиграли желваки.

— Ничего там нет.

— Посмотрим. Даже если и не найдут ничего, то у нас есть много возможностей испортить вам карьеру, и мы непременно это сделаем.

Наступило молчание.

— Что вы мне предлагаете?

— Работать на нас.

Баум становился все увереннее по мере того, как Пишу свою уверенность терял.

— Что я должен делать?

— Может случиться, нас заинтересуют кое-какие вещи. Мы к вам обратимся, и вы сделаете то, что от вас потребуется. Прежде чем заключить такое соглашение, подпишете признание в сотрудничестве с русскими, этот документ будет храниться в сейфе. Ведете себя как следует — он лежит там. Но сначала мне бы хотелось узнать, почему вы работаете на русских. Причины идеологические?

Пишу позволил себе язвительно улыбнуться.

— Ну уж нет. Поддерживать эту убогую систему!

— Деньги, значит?

— Платят они скупо, вам это наверняка известно. Не собираюсь делать вид, будто мне деньги так уж безразличны, но это не тот случай. Главное — страховка.

— Не понимаю,— удивился Баум.

— Да очень просто. Сами подумайте: этот наш ветхий, полуразвалившийся порядок — он что, вечен? Коммунисты на коне, а все остальные партии попросту обречены, долго не продержатся. Вот я и решил подстраховаться!

— Какую же цену с вас берут за эту «страховку»?

— Какую-нибудь информацию время от времени. Иногда связанную с политикой, иногда их интересует кто-нибудь из персонала.

— Но, работая в министерстве обороны, вы имеете доступ к важнейшим сведениям. Их вы тоже передаете?

На эти слова Пишу реагировал совершенно неожиданным образом. До этого он сидел на стуле сгорбившись, будто из него вынули стержень. Но тут вдруг выпрямился, и Баум увидел перед собой высокопоставленного чиновника — чопорного и преисполненного самоуважения.

— Должен вам заметить, что я француз и люблю свою страну. Я не предатель. И никогда бы не сообщил русским ничего такого, что могло бы причинить вред Франции!

Позже, передавая весь разговор Жоржу Вавру, Баум сказал, что это был единственный момент, когда его собеседник обнаружил свои принципы и изложил их с каким-то даже простодушием: политические секреты — ради Бога! Военные — ни за что! Забавно, но Баум поверил ему...

А теперь он пристально взглянул на человека, снова скорчившегося перед ним на стуле:

— Вы когда-нибудь передавали русским протоколы заседаний Комитета обороны?

— Никогда!

— Но доступ к ним вы имеете?

— Конечно!

— Случалось сделать лишнюю копию для постороннего лица?

— Нет. Это же важнейший государственный секрет!

— Которые вы никогда никому не сообщаете...

— Вот именно!

— Для передачи выбираете секреты поменьше, так, что ли?

Пишу не ответил и совсем поник, утратив свой негодующий пыл.

— Ладно,— произнес Баум.— Сейчас я вам объясню, что от вас требуется и каким образом будем поддерживать связь. Давайте вдвоем сочиним один маленький документик, и вы его подпишете, господин Пишу. После чего можете отправляться на все четыре стороны — и считайте, что вам крупно повезло.

Домой Баум добрался только к полуночи. Эстелла уже легла. Он сам приготовил кофе и бутерброды с сыром и уселся в кресло с магнитофоном и кассетой — той, что удалось записать днем в Булонском лесу. Запись продолжалась всего шестнадцать минут. Он вооружился карандашом и блокнотом — шумы на пленке иной раз совсем заглушали слова, иногда голоса звучали слишком тихо и удалялись по мере того, как парочка поворачивала от места, где прятался Баум. Записав все, что удалось расслышать, он проглядел текст и подчеркнул красным те места, которые показались ему особенно интересными. Получилось нечто вроде диалога с большими паузами.

Мужчина: Согласованные действия... ошибки не должно... шестого сентября... точное место.

Девушка: ...с авеню Опера на Конкорд и вверх по Елисейским полям...

Мужчина: ...гранаты?.. Это возможно? Полицейские... как будто движутся вместе с толпой...

Девушка: Да.

Мужчина: ...в богатом квартале. Скажем, поближе к Конкорд или на Елисейских полях... еще в Италии?

Девушка: ...во вторник. Заберем все и спрячем в обычном месте.

Мужчина: Хорошо.

Девушка: С Жан-Полем стало трудно с тех пор, как он сбежал... Мы бы хотели...

Мужчина: Он слишком много знает...

Девушка: ...мы думаем, это неизбежно. В штабе беспокоятся: этот его побег... возможно, все было организовано. Надо...

Мужчина: ...что нужно.

Девушка: Хорошо.

Мужчина: Встречаемся в следующее воскресенье в то же время.

Девушка: Здесь?

Мужчина: ...в другом месте. До свидания.

Девушка: Пока.

Обе кошки устроились на его коленях и свернулись в один большой клубок, пушистый мех смешался, и стало похоже, будто лежит странный зверек о двух головах. Баум пристально рассматривал текст, но не перечитывал его больше. В его воображении разворачивалась широкая панорама событий, в которой сегодняшняя встреча составляла лишь краткий эпизод. Кошки уютно мурлыкали, и время от времени то одна, то другая открывала сонные глаза, но тут же снова засыпала. Пару раз взмахнул чей-то пушистый хвост. Он погладил кошачьи спинки и пощекотал за ушами. Потом бережно снял обеих и, придвинувшись к столу, принялся писать.

На следующее утро, прежде чем идти к шефу, Баум велел с помощью компьютера отыскать, кому принадлежит фургон «рено», на котором вчера приехал в Булонский лес один из участников встречи. К Вавру он захватил запись разговора, составленную накануне. Сидя под портретами двух президентов — прошлого и нынешнего, он пятнадцать минут не спеша и обстоятельно излагал свои мысли, а Вавр слушал, положив перед собой пухлые руки, глаза его не отрывались от лица Баума, и в них не отражалось ничего, кроме недоверия.

Дослушав до конца, он наклонил голову, так что глаз совсем не стало видно за густыми бровями. Они сидели в полном молчании, только часы тикали. Потом Вавр заворочался на стуле, с трудом вытащил пачку сигарет из кармана и закурил.



— Черт бы тебя побрал, Альфред, вечно ты трудности создаешь, являешься с какими-то своими проблемами...

— Ну уж на этот раз проблема не моя. Что ж мне, плюнуть на все и делать вид, будто ничего и не было?

— Я бы так и поступил, ей-Богу...

— Еще не поздно,— усмехнулся Баум.— Можете считать, что я ничего не говорил. Я в газеты не побегу.

— Ты предлагаешь сценарий, который принять невозможно. Не хочу сказать, что ты где-то ошибся. Наоборот, я бы должен тебя поздравить: ты предложил вполне правдоподобную версию. Только вот правительству она не понравится, а я не идиот: зачем предлагать хозяевам то, что им знать не хочется и с чем они справиться не могут? Но отмахнуться от всего этого нельзя. Полное, конечно, безрассудство с нашей стороны, но действовать придется.

— Вот и я так думаю.

— Ну давай говори, что ты конкретно предлагаешь.

С минуту Баум сидел молча, закинув назад голову и полузакрыв глаза. Потом встряхнулся и наклонился вперед.

— Надо, по-моему, разграничить события в Булонском лесу и деятельность террористов. Забудем как бы на время, что нам их главарь известен, и сосредоточимся на том, как от них защититься. То есть воспользуемся теми нитями, что у нас в руках. Во-

первых, номер «рено». Полиция пусть нам его отыщет. Во-вторых, где-то в районе Фобур Сен-Дени расположено что-то вроде базы, где эти ребята встречались, а может быть, и продолжают встречаться. Попробуем провести рейд — обыщем каждое здание в этом квартале.

— Не такие уж надежные нити...

— Еще этот парад голлистов, назначенный на шестое сентября. Нельзя же допустить, чтобы их бомбы взорвались или чтобы они полицейских каких-нибудь укокошили...

— Не можем, и, стало быть, нам на все это дело отпущено не больше двух недель,— заметил Вавр сухо.

— Трудно, конечно, учитывая, что мы не свою прямую работу делаем, а должны работать на полицию.

— Это верно, только кое-что и нас касается, чего никому доверить нельзя: этот субъект Пишу и его контакты с русскими. Кстати, как там с ним?

Баум добросовестно передал разговор с «этим субъектом», и Вавр воздел очи горе с видом безграничного возмущения.

— Ну это-то еще зачем? Куда оно заведет? Пошел бы я к министру, все бы ему рассказал, и тогда уж он сам попросил бы министерство иностранных дел объявить Галевича персоной нон грата, и вышвырнули бы его к черту из страны. Но, правда, тогда бы пришлось рассказать и о кассете Пишу. Кто его знает, что предпримет наш достопочтенный министр, какие у него тут личные или прочие интересы и как вообще дело обернется. Нет уж, весь мой опыт твердит: чего министр знать не должен — это того, что мы сцапали его дружка Пишу.

— Как же трудно! — лицемерно посочувствовал Баум.— Соблюдать конституцию, быть демократичным и законопослушным — и дело делать!

— Да ведь это и есть наше дело: защищать конституцию, демократию и закон, разве нет? От них даже в мыслях отклоняться опасно...

— Тонко замечено. Надо в контрразведку штатного философа брать. Я давно говорил. Какого-нибудь профессора по нравственности и морали. Очень бы он нам помог, разъяснил бы кое-какие простые понятия: «цель», «средства», «оправдывать» и в этом роде...

— Может, и так. Но пока министру ничего не сообщаем и на все моральные соображения плюем.

Уходя, уже в дверях, Баум обернулся:

— Я слышал, что обстрел президентского дворца расследует префектура. Оно и к лучшему: у нас и так дел хватает.

С помощью компьютера по номеру был установлен владелец белого «рено» — некий Анри Жакоб, проживающий на авеню Мэн в доме № 166. Жакоб, как выяснилось, занимался плотницкой и кое-какой случайной работой. Жил он, как сообщили навестившие его сотрудники ОТО, с женой и тремя малыми детьми в квартире на втором этаже и с виду ничем не отличался от любого мелкого ремесленника. Появление целой группы официальных лиц заметно встревожило Жакоба, поскольку он брал кое-какие левые заказы и иной раз уклонялся от уплаты налогов. Когда выяснилось, что посетители интересуются не его гроссбухом, а белым фургоном, он мгновенно успокоился и выразил полную готовность помочь гостям.

Где он был вчера после обеда? Дома, с женой и детишками. Кто его видел? Да они и видели — жена и дети. А может, еще кто? А еще сосед заходил за инструментом, господин Фрескатти. И адрес Фрескатти дал.

Машину он вчера никому не одалживал. Ну, а давно у него этот фургон? Да лет шесть уже. По правде сказать, с такой развалиной много возни, месяца три назад он собрался ее продать. Но никто хорошей цены не дал, так что он решил не спешить. Кто это может подтвердить? А вот... Он порылся на полке, извлек экземпляр газеты и ткнул корявым пальцем в объявление о продаже этой именно машины. Много было желающих посмотреть? Нет, всего один или двое, предложения были несерьезные.

— А помнишь тех двоих — они вроде собирались ее купить? — напомнила ему жена.— Ну вот те, что сразу пришли, как только объявление появилось? Эти вели себя как настоящие покупатели: полезли в мотор, рылись там. Еще раз потом пришли. Помнишь, Анри?

— Это правда, мы уж думали, что дело в шляпе. Но они так больше и не появились.

— Как они выглядели?

Анри пожал плечами и потер щоку.

— Ну один высокий, другой пониже. Лучше у Мари спросите.

— А я помню прекрасно,— сказала его жена.— Столько беспокойства от них было. Особенно этот, длинный. Здоровый такой малый, довольно красивый. Рыжий — знаете, настоящие рыжие волосы.

— Возраст какой примерно?

— Лет тридцать.



Рисунки Вячеслава ЛОСЕВА.

— А другой как выглядел?

— Ростом пониже. Не такой заметный. Мне показалось, он с юга откуда-то, акцент такой. Плотный, волосы темные. Больше ничего не могу сказать.

— Может, еще что-нибудь запомнили? Какие-то особые приметы? Может, кто из них сказал что-нибудь необычное?

Супруги помолчали, потом оба отрицательно покачали головами.

— А называли они как-нибудь друг друга?

Снова молчание.

— Хотя вот,— спохватилась мадам Жакоб.— Мне это странным показалось. Только сейчас вспомнила. Тот, что пониже, что-то записывал на бумажке. Карандашом. Чего уж он там нашел в моторе, чтобы записывать? Но я это точно помню, зачем-то он туда нос совал. Помнишь, Анри?

— Кажется, вспоминаю,— сказал Анри. Его все еще тревожила мысль, как бы эти ищейки не полезли в его гроссбух. Но они, кажется, довольны и тем, что выведали.

— Ладно, зайдем сейчас к Фрескатти. Если он ваши слова подтвердит, то больше вас беспокоить не будем.

Один из инспекторов остался у Жакобов, а другой отправился к Фрескатти — тот оказался по профессии страховым агентом. Он действительно заходил к соседям в воскресенье — его слова полностью совпадали с тем, что сказал Анри. Инспектор вернулся, захватил своего напарника, и они отбыли.

— Знаю я эти штучки,— сказал Баум, выслушав их рассказ.— Цель — обзавестись автомобилем, который выследить невозможно. Метод: отыскать подержанный автомобиль, выставленный на продажу, того самого типа, который вы собираетесь украсть. Осмотреть его, записать номера, проставленные на



моторе и колесах, год выпуска, цвет и прочее. Это нетрудно, если знаешь, где номера искать. Потом угоняешь такую же машину, подделываешь документы — проставляешь номера из той машины, которую ты якобы собирался купить,— и подаешь заявление на обновление номеров, предъявляя, естественно, подделанные документы. Получаешь новенькие, ставишь их на украденную машину — и вот извольте радоваться: бегают по городу два абсолютно одинаковых автомобиля. Но случись что — кого выследит полиция? Да вот хоть того же Жакоба, который абсолютно ни при чем.

— Чистая работа,— согласился инспектор, занимавшийся белым фургоном.

— Вот именно,— полиции-то эти штуки известны, а тебе полезно было познакомиться. Ну, во всяком случае, спасибо за старание.

Инспектору проделанная работа представлялась абсолютно бесполезной — тупик, не более того. Баум же почерпнул из рассказанного информацию, которая в дальнейшем могла сослужить немалую службу: высокий, рыжий и недурной собой мужчина скорее всего Жан-Поль Масэ. Это связывало свидание в Булонском лесу с провокацией, где фигурировал конверт, доставленный в «Юманите». В высших сферах данное обстоятельство наверняка будет замечено, и ему придадут большое значение. «Если, конечно, дело зайдет так далеко»,— сказал он про себя, тщательно занося новые сведения в досье. Потом позвонил заместителю префекта полиции господину Руассе и попросил заняться поиском белого фургона «рено», номер и приметы его известны.

— Но автомобиль с этим номером и той же марки, владельцем которого числится Жакоб, нам не нужен,— предупредил он.— Машина, представляющая для нас интерес, появляется по воскресеньям в Булонском лесу, но может оказаться где угодно. Если кто-нибудь из ваших людей ее увидит, пусть под каким-нибудь предлогом арестует водителя. И господин Вавр хотел бы, чтобы задержанного немедленно доставили к нам. В любое время дня и ночи, вы понимаете?

— Безусловно. А как дело с утечкой информации, ну то самое?..

— Это как раз оно и есть,— сказал Баум загадочно.— Самая важная его часть. Ваша помощь сыграет решающую роль.

— Можете на меня положиться.

— Благодарю вас, господин Руассе.

«Уж если в контрразведке никакие секреты не держатся,— подумал Баум, кладя трубку,— то префектуре доверять — это все равно что воду носить решетом. Мало у меня надежды на скромность господина Руассе».

Вернувшись домой поздно и совсем без сил, Баум съел за ужином все, что приготовила Эстелла, и насыпал целую горку сахара во взбитые сливки, поданные к десерту.

— Восхитительно,— сказал он с полным ртом.— Давненько ты этого не готовила.

— Потому что тебе это вредно. Сливки, сахар — и так за последнее время растолстел.

— Но тебе-то я нравлюсь?

Она засмеялась снисходительно и повторила:

— А все-таки это вредно, так и знай.

Остаток вечера супруги просидели у телевизора, где шел конкурс певцов-любителей, и наслаждались от души. К одиннадцати оба уже спали.

На встрече в Лондоне президенту Франции и премьер-министру пришлось, как они и ожидали, туго. Американцы, видимо, поработали: коллеги наперебой толковали о том, как было бы опасно, если бы Франция скатилась влево,— это, мол, возымеет тяжкие последствия для всей Европы. Премьер-министр Италии, впрочем, взглянул на проблему с совершенно иной стороны. «Извините меня, cher collègue,— *сказал он французскому премьер-министру, с которым был знаком уже лет двадцать,— но в вашей ситуации в данный момент наибольшую опасность, по-моему, представляют как раз не левые, а правые. Мне кажется, что именно им ситуация сулит выгоду: я имею в виду возможность государственного переворота. Во имя закона и порядка, ради защиты отечества и так далее... Ну, вы и сами понимаете.*

— Понимаю.

— Простите, что вмешиваюсь, но наши итальянские фашисты получили бы огромную поддержку, случись во Франции правый переворот. Между нами, мы ведь старые друзья,— вы осознаете надвигающуюся опасность? Можно ли рассчитывать, что вы сами с ней справитесь?

— Можно,— коротко ответил француз. Для него в данном случае не имело значения, сколько там лет они знакомы — очень ему интересно мнение итальянца по поводу чисто французских проблем!»

При обсуждении бюджетной политики европейского экономического сообщества он заметил, что доверие к франку уменьшилось у всех без исключения европейских лидеров, будто эпидемия их охватила. Англичанин, чувствуя себя, видимо, менее европейцем, чем остальные, напрямую спросил, способна ли будет Франция выполнять свои обязательства, если положение в стране не нормализуется в самое ближайшее время. Эта бестактность была встречена гробовым молчанием французской делегации и расстроила всех участников встречи.

ГЛАВА XII

Жара в Париже не прекращалась. Город изнемогал под раскаленным небом, которое то и дело меняло свой голубой цвет на серо-стальной. Но даже грозы не приносили облегчения, влага мгновенно высыхала. Воздуха, пропитанного пылью и бензином, будто не хватало на всех. Девушки на улицах ходили в шортах.

На борту «Марии-Луизы» шло заседание штаба. Банки с кока-колой стояли на столе вперемешку с переполненными пепельницами, тут же была расстелена карта Парижа.

— Теперь послушаем, что скажет товарищ Ингрид,— сказал председательствующий.

Ингрид — ее светлые волосы стали теперь темно-каштановыми — была точна и деловита.

— Мне было поручено найти подходящее место для акции, которая намечена на шестое сентября. Предлагаю стройплощадку на Елисейских полях, возле Рон-Пуан, вот здесь.— Она показала пальцем место на карте, уже помеченное крестиком.

— Здесь высокий забор — метров пять, он полностью закрывает строящееся здание, оно возведено пока только до второго этажа. Наш человек проникнет на площадку, скажем, в субботу утром. Это нетрудно: рабочие и те, кто привозит стройматериалы, снуют туда-сюда. И проведет там всю субботу. Парад начнется воскресным утром возле Триумфальной арки, колонна появится на этом перекрестке примерно в десять пятнадцать.

— Стрелять придется вслепую,— заметил председательствующий.

— Верно. Но технически это вполне выполнимо, к тому же дает преимущество: благодаря высокой траектории полета снаряда трудно будет установить, откуда он выпущен. И это позволит стрелявшему скрыться. Со стройплощадки выход на авеню Рузвельт.

— Тому, кто возьмет на себя такую миссию, предстоит долгое ожидание,— сказал Бруно.

— Бывают неприятности и похуже,— возразила Ингрид резко.— Погода хорошая. Можно взять с собой хорошую книжку, почитать там.— Если она и пошутила, то ничем это не проявила.

— Есть другие предложения?

Никто не ответил.

— Хорошо, принято. Дальше — кто проведет операцию?

— У меня есть кандидатура,— предложила Ингрид.— Серж. Он участвовал в ликвидации Лаборда.

— Есть еще кандидатуры?

— Подходящий парень в группе, которая базируется на Монмартре.

— А он чем отличился?

— Взрыв в туннеле на Конкорд — его рук дело. И в «Америкен Экспресс».

— А допрос он выдержит? — спросила Ингрид.

— Ну, этого я не знаю.

— Серж, с моей точки зрения, больше подходит. У него отличная идеологическая закалка.

— Принята кандидатура, предложенная Ингрид. Раз она за него отвечает. А я позабочусь, чтобы он мог ускользнуть. Поговорю с нашими друзьями.

— Считаю, что Сержа следует подстраховать,— сказала Ингрид.— Могу я сама подобрать ему дублера?

Согласие было получено.

— Есть еще вопросы? — осведомился председатель.

— Есть.— Ингрид произнесла это без всякого выражения, ее тонкие руки спокойно лежали на столе.— Насчет Жан-Поля. Предлагаю ликвидировать его. Он ненадежен и знает слишком много, чтобы просто так его выгнать. К тому же он целые сутки находился в лапах контрразведки.

— Он полезный человек,— возразил председательствующий.

— Ну и что? Надежность — это важнее. Он самонадеян и политически неустойчив. Никакого самоконтроля. Просто авантюрист. Среди нас таким не место. Ну и все же — как можно сбежать, если тебя арестовала контрразведка? Подозрительно!

— А сейчас он где?

— Прячется в моей квартире с тех пор, как сбежал.— Ингрид при этих словах чуть-чуть покраснела.— Мы подумали, что его физиономия слишком уж примелькалась полиции и прочим, особенно в его районе.

— Кто-нибудь возражает против ликвидации?

До сих пор молодой человек, которого здесь все называли Рене, молчал. Но тут он вмешался:

— Нельзя же так разбрасываться людьми! Жан-Поль неплохо поработал.

— А я и не говорю, что он плохо работает. Убрать его следует потому, что его недостатки ставят под удар весь наш план. Слишком уж ты сентиментален!

— Я все же думаю, что людей надо беречь,— не сдавался Рене.

— Беречь надо только наше дело! — вспыхнула Ингрид.— Всякие слюни и сопли ни к чему!

— Ингрид права,— подытожил спор председательствующий.— Ее предложение принято, пусть она сама и сделает все, что нужно. Ты ведь этого хотела, правда?

— Я уже все подготовила. Мне только нужно было ваше согласие.

Перевела с английского Элла НИКОЛЬСКАЯ.

Продолжение следует.



Среди всех разновидностей кризиса, которые существуют в природе, может быть, самый ужасный — кризис чувства юмора. Когда вместо здорового хохота остается лишь вымученная, слабая улыбка: «Вы меня хотели рассмешить? Спасибо и за это...» Не эта ли перспектива нас ждет, если из всех видов юмора и сатиры мы оставим себе только «политико-идеологически-социальный» (во всех разновидностях: от грубоватого Задорнова до блистательного Жванецкого)? Разумеется, в каждой ежедневной газете и в каждом выпуске программы «Время» так много смешного, что пройти мимо этого черного юмора порой невозможно. Но ведь есть же еще МЫ! Мы сами, еще не затурканные реальностью настолько, чтобы ничего, кроме цен, съездов, указов, у нас не осталось. Мы есть или нет? Мы можем еще просто улыбаться или нет?

ТЭФФИ



Не знаю в точности, какие именно письма получают от читательниц мои собратья по перу. Я получала приблизительно трех категорий: очень умные и серьезные (конечно, редко), письма с поучениями и поручениями и — наибольшее количество — с просьбой помочь разобраться в сложных сердечных делах и дать совет.

«Вы, как женщина, легче поймете меня...»

«Я обращалась уже к Леониду Андрееву, но он, как мужчина, вероятно, не может меня понять, поэтому и не ответил, но вы, как женщина...» и т. д.

На такие письма гораздо спокойнее ничего не отвечать. Но иногда почувствуешь, что молчание может обидеть, убедишь себя ответить, и, значит, «коготок увяз и всей птичке конец». Потянутся длинные, нудные письма с описыванием «непонимающей среды», которая обыкновенно оказывается мужем, с рассказами о собственной потрясающей загадочности, с упреками в неотзывчивости, с требованиями личного свидания.

Одна такая читательская история приключилась со мною уже здесь, в Париже, и привела к самым неожиданным результатам.

Получила я письмо от неизвестной дамы. Дама умоляла меня принять ее и выслушать, потому что я одна могу разъяснить ей ее запутанное положение и указать выход.

Я согласилась.

Пришла молодая, элегантная особа, с говорком киевского оттенка. История, которую она мне рассказала, была «глубоко-психологическая».

— Вы не подумайте только, что я его люблю или обожаю. Ничего подобного. Замужем я за ним уже восемь лет, да и никогда он мне особенно не нравился, а здесь, в Париже, так и совсем как-то ни к чему был. Просто, можно сказать, на побегушках. «Жоржка туда — Жоржка сюда! Жоржка, беги! Жоржка, плати!»

Бегает, топчется, платит.

Мы с одной дамочкой открыли шляпный магазинчик — ну вот он бегал, картонки разносил, утюги грел. «Жоржка, живо!» Словом, пикнуть не смел.

Ну, конечно, мы ездили с кавалерами и в ресторанчик, и в киношку, а уж его, разумеется, никогда с собой не брали. Смешно! За меня, за даму-то, ведь платят, а он должен за себя, значит, из нашего кармана платить? Это уж, знаете ли, шуточки не веселые.

Теперь вы имеете понятие о Жоржке. И вот поехала я на лето с этой самой компаньонкой к морю отдыхать. Отдохнула, вернулась и вот — сюрприз. Жоржка сидит, манжеты выпустил, голова прилизана, галстук приличный, на меня не смотрит, ногти полирует.

Хотела я его послать с кое-какими поручениями, а он так спокойно:

— Ну, это можно и до завтра отложить. А сейчас ты лучше приведи в порядок квартиру, а то противно смотреть.

Подумайте только!

Я, конечно, закричала не своим голосом:

— Да ты с ума сошел!

А он спокойно берет шляпу и уходит. В дверях обернулся.

— Постарайся,— говорит,— привести свои нервы в порядок.

Вернулся в четыре утра.

И так каждый день. Горд, спокоен. Я, наконец, поставила вопрос остро: отвечай, мол, где пропадаешь.

А он вдруг в ответ:

— Я.— говорит,— одной даме помогаю научную книгу писать.

Ну что вы на это скажете? Если бы он сказал, что он в цирк рыжим поступил, я бы скорее поняла, но чтобы он, Жоржка, научную книгу писал! По-моему, это для меня даже оскорбительно. Как по-вашему — влюблен он в эту даму? Как, по-вашему, по-психологически?

Я подумала и ответила честно:

— «По-психологически» — да.

— Почему же так выходит?

— Потому что прилизался. И ногти.

Она задумалась:

— Так как же вы теперь посоветуете?

— Старайтесь как-нибудь привлечь его к себе.

— Да как?

— Устройте, чтобы дома было весело. Зовите гостей.

— Ой, да он как раз гостей терпеть не может.

— А он добрый? Жалеет вас, например, если вы больны?

— Прежде-то жалел и беспокоился.

— Ну так знаете что — делайте вид, что вы безумно страдаете, когда он уходит. Устройте себе бледное лицо, синяки под глазами и встречайте его кроткой, страдальческой улыбкой, когда он возвращается.

— Ну, знаете, это трудно. Я ведь в точности не знаю время, когда он вернется. Иногда в три, а иногда и в двенадцать. Так не сидеть же мне, как дуре, весь вечер с синяками. Я в киношку хочу.

— Ну сбегайте в вашу киношку, а как вернетесь, так намажьтесь и ждите.

— Разве что так. Как это все-таки ужасно. Из-за такого болвана вся жизнь кувырком. Но что ж — придется попробовать. Разрешите прийти к вам через недельку. А скажите, вы уже кому-нибудь это средство предписывали?

— Ну конечно!

— И помогало?

— Еще бы! Вот увидите сами.

Через неделю она пришла.

— Не помогло. Пять вечеров крепилась. Один раз из театра прибежала, даже платье не успела переменить, только лицо приготовила и страдальческую улыбку. А он посмотрел, да и говорит:

— Что это ты, как чучело, вырядилась и такие зловещие хари строишь?

Это он про мою улыбку, про страдальческую! Ну я, конечно, и не выдержала.

— А что? Разрыдались?

— Хуже.

— Бросились ему на шею?

— Еще хуже. Дала ему по морде.

— Ой-ой-ой!

— Вот то-то и оно. Все дело испортила. Как же теперь быть? Ведь уж теперь, пожалуй, на страдалицу не наладиться.

— Да, действительно теперь не того-с. Не выйдет.

— Так неужели же мне так и опустить руки? Человек надо мной измывается, «ученую книгу пишет», а я должна примириться?

— Подождите,— сказала я.— Мы найдем другое средство. Тоже очень хорошее. Скажите — ваш муж ревнив?

— Прежде да, был ревнив. Хотя, конечно, не смел показывать.

— Ну так вот: делайте вид, что у вас очень интересный роман. Понимаете?

— А как же его сделать, этот вид-то? У меня сейчас, как на грех, ни одного поклонника, хоть шаром покати.

— Никого и не нужно. Вы только делайте вид. Это очень просто. Закажите себе новое платье, новую шляпу, ходите по комнате от одного зеркала к другому, улыбайтесь, напевайте, говорите по телефону, плотно прикрыв двери, причем трубку, конечно, не снимайте и кричите так, чтобы было в соседнюю комнату слышно: «Безумно! Я тоже. Ах, я тоже! Незабываемо! Вы это всем говорите? Сегодня ровно в пять, на том же месте». И в половине пятого начинайте наряжаться, собираться, нервничать. Если муж вас случайно спросит, куда вы идете, отвечайте испуганно одним духом: «Ровно никуда, то есть к портнихе, мне дантист назначил». И бегите вон. Кроме того, нужны, конечно, некоторые жертвы и затраты. Вы должны посылать себе из магазина каждый день корзину цветов. Ну, конечно, это расход большой, зато бьет наверняка. И чтобы цветы непременно были одинаковые, например, белые розы. Или черные ирисы. Это страшно привлекает внимание. Сейчас видно, что цветы от одного и того же лица и с каким-то таинственным значением. При нормальных условиях супружеской жизни, если жена начинает получать такие многозначительные корзины, то нормально относящийся к ней муж уже после третьей присылки начинает визжать неприятным голосом. Допустим, что ваш муж не так восприимчив, но все-таки не думаю, чтобы он дотерпел до шестой корзины, не потребовав от вас объяснения.

— Может быть, можно просто букеты? — задумчиво сказала моя посетительница.— Уж очень дорого обойдется.

— Нет, этого никак нельзя. Нужно, чтобы цветы были видные, заметные, раздражали бы. Лучше всего ставить их так, чтобы он об них спотыкался. Например, куда-нибудь около двери из передней. Так все подряд и выстраивайте. Уверяю вас, что после шестой корзины он должен завопить козлиным голосом. Это, так сказать, пробьет лед.

— А я что должна делать?

— А это в зависимости от того, какие именно слова он будет вопить. Но, во всяком случае, никогда, что бы там ни было, не признавайтесь, что сами покупали цветы. Это, мол, один безумец, имени которого я не хочу произносить. Я, мол, его отвергла, потому что я тип тургеневской однолюбки и буду любить всю жизнь одного, который меня терзает. Тут можно зарыдать, и все пойдет как по маслу.

Собеседница моя очень обрадовалась. Она нашла, что все действительно устроится как нельзя лучше.

— А вы эту штуку кому-нибудь уже советовали?

— Ну, конечно.

— Ах, до чего я вам благодарна! Значит, дней через шесть прибегу вам рассказать.

Она прибежала раньше.

Она прибежала через три дня.

— Кончено!

— Помирились?

— Выгнал!

— Быть не может!

— Как увидел вторую корзину, так и выгнал. «Я, говорит, объяснений ваших слушать не желаю, они мне не интересны. Очень рад, что ваше поведение облегчает мне уход в светлую жизнь с любимым существом». Каков идиот! И из-за такого гнусного существа я так страдала! Сколько ночей не спала, страдальческие улыбки делала, чего-чего только не вынесла, чем только не пожертвовала. И вот тебе награда. «Светлая жизнь!» Произнести перед законной женой такие мерзостные слова!

Она помолчала, подумала и спросила уже спокойным тоном благоразумной женщины:

— А как вы думаете — ведь я теперь имею право требовать с него деньги за эти дурацкие корзинки? Ведь для него же, дурака, я их покупала? Нужно же быть справедливым!

1931 г.

Публикация Е. ТРУБИЛОВОЙ.

Андрей КНЫШЕВ

Андрей Гарольдович Кнышев,
автор — создатель популярного цикла телепередач «Веселые ребята»,
впервые познакомился со своими родителями 34 года назад.
Русский холерик, беспартийный астеник, несудимый скорпион,
холостая обезьяна, наш человек. Светлая голова (блондин).
Парадоксов друг. Вес 61 кг кусочком.
Длина тела в расслабленном состоянии — 182 см.
В прошлом — будущий градостроитель, выпускник МИСИ им. Куйбышева,
где его проучили как следует — на ленинскую стипендию.
Публикации «кнышуток» в центральной прессе
и выигрыш путевки в Гавану в телеконкурсе «Салют, фестиваль!»
довели А. Кнышева до создания на том еще телевидении
острых и необычных по жанру «Веселых ребят»,
которые видали в Нью-Йорках, Сиднеях, Лондонах и Парижах,
где подчас и брали призы.
Возделывая ниву телевидения,
автор не особо баловал большую литературу своими произведениями
и сегодня делает это
в связи с выходом его книги «Тоже книга» (название).
Подробности при встрече.

ФРАЗЫ

В будущем, с упразднением бумажной волокиты и ростом доверия, можно будет ввести устные деньги.

Надо низвергать не только памятники, но и пьедесталы.

Седьмое чудо света занимает шестую часть суши.

«Устав от КПСС»

Прелесть икебаны корова может оценить только на вкус.

«Будет развиваться у нас демократия или не будет — в любом случае это будет единственно правильное решение».

Из разговора на выездной комиссии старых «добрых» времен:
— В Америку собираетесь лететь?
— Угу.
— Смотрите без глупостей: если останетесь там, больше не поедете.

Не торопитесь отправиться в преисподнюю. Без вас не начнут.

КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)
В 1903 году, в четверг, была учреждена партия большевиков. Остальное вы знаете.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ЭЗОПОВ ЯЗЫК

— Ах, это опять вы! — поморщившись, сказал цензор, увидев, как в дверь просунулась кудлатая голова Эзопа.— Что-нибудь новенькое принесли показать?

Эзоп кивнул, показал язык и хлопнул дверью.

СИЗИФ

— Эге-ге-ге-ге-гей-гей! — заулюлюкал по-древнегречески Сизиф и побежал с самой вершины вниз под горочку, держа в руках сандалии и прихлопывая ими над головой.

— И-эх, мама моя родная! — орал он, норовя догнать колесивший впереди булыжник.

...Внизу он вытер пот со лба, перекурил, сидя на камне, обул сандалии и, поплевав на руки, попер с камнем в гору.

Он улыбался в пшеничные усы и думал о том, что от всякого труда нужно стараться получать удовольствие.

СОКРАТ

«Я знаю только то, что я ничего не знаю!» — неосторожно обронил Сократ через плечо, проходя мимо шепчущейся кучки надменной афинской демократии пятого века до нашей эры.

«Ишь ты, чего знает!» — зашипели ему вслед. «Дурачком прикидывается!..» «Может, и мы ничего не знаем, а?..»

«На-ка вот, выпей-ка».

...Он слишком много знал.

ЧАСТУШКИ ФИЛОСОФСКИЕ

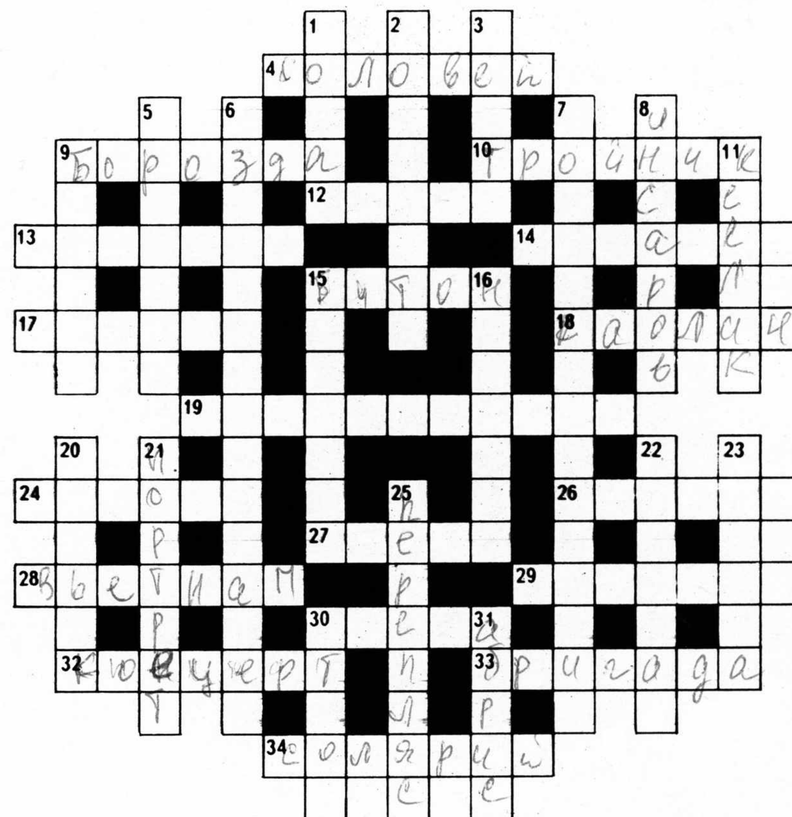
Мой миленок Фейербах
Поругался с Гегелем,
Разорвал ему рубаху
И ударил мебелем.

Эй! Айда на сеновал:
Почитаем Канта!
Вроде все с собою взял?
Ой, забыл стакан-то!

У верблюда два горба,
Нам один положено —
Вот единство и борьба
Противоположного.

А в хозяйстве все идет
Развитье по спирали.
Что не сперли в прошлый год,
В этом поспирали.

Ведет рубрику Игорь ДВИНСКИЙ,
рисовал на этот раз Алексей МЕРИНОВ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Романс А. А. Алябьева. 9. Углубление на поверхности почвы, проделанное плугом. 10. Деталь для присоединения к трубопроводу его ответвлений. 12. Способ спортивного плавания. 13. Коралловый полип. 14. Лекарственное травянистое растение. 15. Нераспустившийся цветок. 17. Прием исполнения в музыке. 18. Белая глина. 19. Отношение, основанное на доверии, общности интересов. 24. Итальянский дирижер, композитор, автор оперы «Турандот». 26. Стихотворение С. А. Есенина. 27. Река в Бразилии. 28. Республика на полуострове Индокитай. 29. Советская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр 1964 года в лыжной эстафете. 30. Город в Центральной Италии. 32. Театральное представление. 33. Рабочий коллектив, выполняющий определенное производственное задание. 34. Площадка для приема солнечных ванн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Льдина, стоящая на ребре в северных морях. 2. Полное сил, энергии физическое и нравственное состояние. 3. Рассказ А. П. Чехова. 5. Средний многолетний уровень водоема. 6. Согласие, единомыслие. 7. Радиолюбитель. 8. Персонаж романа И. С. Тургенева «Накануне». 9. Краткий путеводитель, проспект. 11. Каменная куропатка. 15. Гонщик на специальной платформе с парусом. 16. Озеро на востоке Сахалина. 20. Забавный, смешной случай. 21. Изображение человека в живописи. 22. Приток Колымы. 23. Небольшое драматическое произведение. 25. Соревнование в русском народном танце. 30. Время года, связанное с определенными явлениями в природе. 31. Очертания предмета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Яблочко. 7. Чарушин. 8. Бега. 9. Колок. 11. Этика. 12. Диалектика. 13. Тангенс. 15. Трактат. 17. Кета. 18. Грунт. 19. Гений. 20. Опыт. 22. Стартер. 24. Реагент. 26. Склероскоп. 28. Белка. 29. Рапти. 30. «Тина». 31. Новатор. 32. Нарцисс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обложка. 2. «Город». 3. Бухта. 4. Вискоза. 6. Обелиск. 7. Частота. 10. Кибернетика. 11. Экзаменатор. 14. Норма. 16. Трике. 20. Оркестр. 21. Тристан. 23. Телефон. 25. «Нафтуся». 26. Склад. 27. «Паяцы».

1 руб. Индекс 70663